

ВАСИЛИИ ЮРОВСКИХ

СИНИЕ ПТАШКИ ПИКУШКИ



ВАСИЛИЙ ЮРОВСКИХ

СИНИЕ ПТАШКИ- ПИКУШКИ

*Лирическое повествование
в рассказах*



художник Н.КОРОТКИН

*Москва
"Детская литература"
1981*

Юровских В. И.

Ю78 Синие пташки-пикушки: Лирическое повествование в рассказах/ Художник Н. Короткин.— М. Дет. лит., 1981.— 128 с., ил.

В пер.: 40 к.

Сборник рассказов, объединенных одними героями, о деревенских подрастающих, об их жизни в трудные годы войны, о дружбе, верности и доброте

Ю 70803—488
М101(03)81 28Р—81

P2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1981 г.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННОСТЬ» «Журавлиные корни» 1979 г., рассказы, отмеченные в содержании звездочкой.

ТАЛЬЯНКА

Шли мы с бабушкой домой с Россохи, где по низям набруслили полные мешки мягколистного кобыляка, конского щавеля. В другой раз, даже с тяжелой ношей, я все равно забегал вперед, рыскал кустами и лесом, отыскивал что-либо съедобное. Иногда удавалось мне поднять с гнезда рябую тетерю, и случалось самому испугаться, если из смородины черным выхлопом вырывался затаившийся косач. А то наскочишь в загустевшем костяничнике на ежа, уколешь ногу, а он живо взбугрится серо-щетиным клубом и сердито запопыхивает-завздрагивает. Или пискнет из-под ноги птаха,— разнимешь траву и подивишься на ладно увитое гнездышко, на горячие пестро-розовые яички овсянки. Засмотришь их, но чтобы птичка гнездо не бросила, выдернешь из русого вихра пару волосинок и положишь на яички.

Сегодня же топаю рядышком, пособляю бабушке поправить время от времени на спине мешок, отгоняю березовой веткой липучих на потную кофту комаров и паутов. И слушаю, как она рассуждает о городе Далматово:

— Самая пора, Васько, сходить нам туды-ка. Ягода ишшо слепая — что глубянка, что смородина, а грузди ишшо не наптели. Варенца прихватим, табачку насыплем. Сбудем с рук и, глядишь, хлебного поесть купим...

В березовой дубраве дорога затененная и понизу сырая: там с глубины неведомой поднимаются родниковые жилы. Подошвам до щекотки прохладно после каленой открытой дороги через увал. Усталость проходит сама собой, словно пьют ее из тела невидимые ключи. Идешь и даже не чувствуешь голые ребра корней, покуда не ушибешь не-

взначай палец ноги. А бабушку слушать не переслушать...

Двенадцатый год мне, а я и одним глазом не видал города, паровозов и железной дороги, реки Исети. И белокаменного монастыря. Бабушка почему-то называет железную дорогу «чугунка».

— Какая чугунка? — дивлюсь я. Иных, кроме тех чугунков — ведерных с водой и кобыляком, поменьше с картошкой и похлебкой, что утрами отправляет мама в зеву печи, — сроду не доводилось мне видеть.

— Да как уж так и называли в народе паровоз-то и дорогу железну, — поясняет бабушка. — Да как придем, сам и поглядишь. До городу не шибко и далеко, верст двадцать, — продолжает она, вытирая концами бледно-синего платка потные щеки. — Пораньше встанем и по холодку половину волока осилим. За Песками в гору поднимаемся — привал у Серебряковой рощи устроим. Малинник по ней шибко густой. Передохнем и до Першинского свертка. А там под уклон к Затече покатымся. С тамошней горы сбежим — город-то тут как тут.

Бабушка зевает, машинально крестит рот и вздыхает:

— Не спалось ночесь чего-то. Сперва, навроде, задремалось, а тут Ондрюшка возьми и приснись. Живой ето, в одеже справной, сам веселый. Побрякал в стекло с улки и зовет: «Мама, чего на все запорки закрылась, али не ждешь совсем меня?» Господи... Сон-то как сдунуло. Затрясло меня, будто в лихоманке, зазнобило всю, как есть яшшорка телом пробежала. Испужалась, а ноги к окошку несут. Ить понимаю, Васько: год минул, как убило Ондreja на глазах суседа Олександра Федоровича. Понимаю ить: с того света никто не хаживал, а всё одно кинулась поглядеть...

Бабушка призадержалась, прислонилась мешком к толстой березе, и уж не пот, а запавшие глаза сушила платком. И концы его темнели и темнели. Подняла она голову и задумчиво смотрела на густую вершину березы.

— Ну и глянь за окно, а на улке темень, одна березка у дома в тынке нет-нет да и сбелеет перед глазами, ветер пошумит ветками да ставень поколотится о простенок. Никого нету-ка, никого... Постояла я, постояла и опять легла. А сон-то не идет. Лежу, веки не закрываю и жду. Что если и на самом-то деле Ондрюша воротился, разыгрывает меня и боится сразу перепугать? Лежу и споминаю. Как прощался со мной — губы-то у него были холодны. И обмерло сердце, почуяла тогда я: не видать мне больше

его живым, не видать... Кажись, изнесло меня, задремала я. И тут Жёк чего-то завыл, по-благжному завыл. Волков, что ли, учуял. А я опять за свое, опять Ондрюша с ума не сходит. А ить год минул, год...

Бабушка не причитала голосом, как тогда, когда письмоноска Настасья Симифониха подала ей злосчастное письмо. Она только глубоко дышала, а слезы сами накачивались, топили ее глаза и морщины.

Чем, ну чем смогу помочь бабушке? У меня тоже зауделись глаза, и сразу вспомнилось, как тогда выла-причитала бабушка у печи. Я убежал в черемуху за избой, тряся от слез под кустом и слышал чужой проголосный плач: «Сине море взволновалось, я с Ондрюшенькой прощалась...» Он заморозил меня до немоты, и лишь впотьмах очуствовался я и боязливо заглянул в распахнутую дверь избы, где затихла-изнемогла на лавке под старой шубой моя бабушка...

Чем я помогу... Души я не чаял в дяде Андрее за его доброту и ласку. Как с ровней он дружил со мной, мастерил мне почти взаправдашные винтовки, а однажды изладил пулемет «Максим», который мы и отнесли с ним в клуб, где юровские парни и девки готовились к постановке. А потом, затаившись, смотрели со скамейки на сцену, где тракторист Пашка Поспелов строчил из пулемета по самураям, они вопили «Банзай» и падали на пол.

Пулемет был бы цел, но началась взаправдашная война с германцами, и детдомовцы из Лебедяни, занявшие клуб, истопили зимой «Максимом» печку. Эх, не догадались мы с братом Кольшей утащить дядькин пулемет на вышку своей избы... А то бы могли на войну с ним уехать... Нечем отомстить нам Гитлеру за дядю Андрея.

— Чего, чего вы надумали? — забеспокоилась мама, когда заторопился я ночевать к бабушке.

— Да как мы-то, Варвара, собрались в Далматово завтра сходить. Одним днем обернемся. Охота Ваську показать город, реку большую. Кто нас тронет, старого да малого. А подорожников я сама напеку...

Мама молчала.

— Что Василью-то передать? — схитрила бабушка.

Мама знала, что путь наш лежит через Пески, где живет ее брат дядя Василий и тетка Афанасья. А ей самой все недосуг повидаться с родней, стемна дотемна обстирывает детдомовцев. Стало быть, прямой резон отпустить меня с бабушкой.

Мама сначала замешкалась, а потом заторопилась:

— Перво-наперво приветы передайте Василью с Афанасеей, Нюре и Иванку. Спросите, чего Кольша с фронта пишет. Ну и пушай кто-то погостить прибежит. А ты, Васька, к паровозу близко не лезь и жулью на глаза не попадайся. Ладно?

— Ой, да и есть чем жулью от Васька нажиться! Все в нем да на нем, — засмеялась бабушка и поднялась с лавки.

Она была довольна, что скоро поладила со снохой, знала, как подступиться к моей маме. Коли начала с Песков, ее родины, не будет она против.

...Вышли на заре. Конотоп на заулке остудил росой ноги, и вялая дремота вытряхнулась из меня.

На улице никого не видать. Спит еще на полатах дружок Ванька Фып, поди, видит во сне отца. Скоро должен Филипп Николаевич домой воротиться из лазарета, будет у Ваньки тятя. А наш-то когда еще отвоюется и останется ли живой. Не все же время в похоронных станут ошибаться.

А вот изба моей подружки Маньки. Стукнуть бы по амбару, где ночует она летом с сестрой Дунькой, вызвать ее. Не похвастаться, а сговорить в город.

Но некогда мешкать. Бабушка вон как пылит улицей, даже не оглядывается. Я догоняю ее.

Поравнялись с домом Матрены Засони. Прозвище у нее такое. Через низкий косой заплот видно корову на крылечке. Навалила на скобленные тесины и поддевает рогом железное кольцо у дверей сенок и мычит — зовет хозяйку. Да куда там! Добудись-ка! Зря бы не дали прозвище Засоня. Все у них в роду на ходу спят. И сына у Матрены из Чебаркуля вернули. Здоровенный парень Санко, а на фронт не взяли.

Бабушка быстро глянула на избу Матрены и вспомнила:

— Посулилась я вылечить Санка. Ить болесь, болесь у него родовая. Выхожу, и, смотришь, на войну поедет. А то чо же? Мается парень, места себе не находит. Дружья-то все там, кто погиб, кто воюет, а его забраковали. Конечно, Афонька Кузьмы Хромого радехонек своему изъяну, отъел ряшку — кирпича просит. А Санко страдает, ему на войну охота. Отхожу, отхожу, трав-то мы, Васько, всяких запасли...

Я верю бабушке. Трав-то мы еще прошлым годом с ней

нарвали и засушили под сараем и в амбаре. И все-то она их знает, от любой хвори запаривает травы. А наговоры шептать сами же бабы заставляют. Да и обижаются, если бабушка просто так подает питье в кринке:

— Чем мы огневили ты, Лукия Григорьевна? Анне Золенковой все честь по чести изладила, а мне и не щепнула...

Возьмет она горшок или кринку с питьем и уйдет за перегородку у печи. А когда повеселевшая баба убегает с лекарствами, бабушка всякий раз смеется и всплескивает руками:

— Ить я ее, ее, Васько, бранила! Рази втолкуешь, что польза в травах, а не в словах. И коды токо я отучу баб от этих наговоров...

Вблизи моста через речку Крутишку я оглянулся на осевший дом под железом, где тоже спал друг огурешный Вовка Мышонок. Большелобый и узкоглазый, он никогда не трусил, как другие, а даже днем мог забраться в огород. Отчаянный парень, хоть и мал ростом... Вот кому первому расскажу я про город...

Из-под моста парит омутина. Вода верхом теплая, а на толщине все лето обдаёт кожу холодом. Нырнуть бы с перил «солдатином», да некогда, некогда, да и успею набулькаться тут. У города ждет меня широкая река Исеть — быстрая и глубокая, людей в ней потонуло страсть как много, по словам мамы. Нырнул один с моста, и найти не могли. Другой мужик налимов ловил по надмывам-залавкам, где норы у них, — как стоял, так и утонул. Засосал его руку налимом по самый локоть, а вытащить рыбинку мужик не смог, не осилил ее.

Страшно подумать о Исети. Но если не заругается бабушка — я хоть у берега побрыкаюсь, не унесет же меня с мелкого места. А день-то жаркий будет, небо вон какое белое-умытое от лесов до лесов на все стороны...

С угора оглянулись мы на Юровку, нашли глазами пожарную каланчу и наш тополь за избой. Ее и не видать отсюда, а по тополине завсегда отыщется усадьба. И чуть ниже бабушкин дом — с черемухой, березкой в тынке и молодой ветлой на ограде. Нижний сучок у нее посох, его дядя Андрей укоротил, и бабушка, как ополоснет подойник, опрокидывает на сучок-вешалку.

Мама давно у корыта в детдомовской прачечной, а сестра Нюрка корову Маньку доит, торопится проводить ее в пастушню. А брат Кольша спит. у него работы по хо-

зайству на весь день хватит. И на Большое озеро ему нужно дважды сходить — проверить морды¹ и манишки². Без рыбы, наверно, мы давно бы с голода опухли... И разве мы одни: всех соседей полной чашкой желтых карасиков или мелких гольянов обносим, а Антониде Микулаюшкиной всегда побольше. Ее «сам», Филипп Николаевич, закадычный тятин друг, и мы все дружим, и их банешка наша общая.

— На Монастырщину поднялись, теперь до росстани Морозовской, а там и Половинное,— молвила бабушка.

Радуетса она дороге дальней не меньше моего, и не зря мама зовет ее «непосидячая». Не по душе Лукии Григорьевне сидеть сложа руки, не может она обойтись без заделья. У нее и поговорка любимая: «Лето — припасиха, зима — прибериха».

Монастырщина... Мне и расспрашивать не надо бабушку, давно знаю, отчего угор так окрестили юровчане. На второе лето войны пасли мы здесь по полянкам коров, и в полдень при солнце дружно полился крупный дождь. Бабушка под густую березу схоронилась, а мы с братом запрыгали на поляне, завопили:

Дождик, лей, лей, лей
На меня и на людей.
Дождик, лей нуце.
Будет хлеб гуще...

Дождик и на самом деле часто зашумел, рубахи и штаны враз прилипли к телу, стало нам свежо и цекотно.

— Полно, полно вам, робята! — позвала нас к себе бабушка под березу.

И тогда рассказала, что и леса на угоре, и пашни были когда-то не крестьянские, а владели ими монахи Далматовского монастыря.

— Самолутышие земли захватили, толсторожие,— хмурилась бабушка. — А теперь вот они, робята, все наши, колхозные и никому боле не достанутся. И ерманцу паршивому не видать их никогда. Даром, чо ли, столь мужиков на поле брани. Да рази оне не застоят! Наша, наша родимая земляца... — дрогнула голосом бабушка, протянула руку от березы и под струями дождя долго гладила ладонью мокрые травы, где наливалась сытная ягода глубянка...

Ходко шли мы большой дорогой, высматривали над собой жаворонков и поднимали с затравевших обочин и канав перепелок. Они с писком низко улетали на хлеба и неслышно тонули в пшенице или овсе. А голову кружили волны пахнущих трав — белого и желтого донника, сизой полыни и хмельной конопли, ромашек и вазиля... Травы расцветали белыми и желтыми трясогузками, хохлатыми жаворонками и овсянками, в их гуще копошились мыши, туда же прятались столбики песочно-рыжеватых сусликов.

Село закрылось угором, и только чуть-чуть выглядывали издали синие верхушки тополей и ветел на Одине. Оттуда и покраснело над угором солнце, высветило впереди нас дорогу и леса, прояснило мамину родину — село Пески. Оно-то знакомое мне, и я знаю, когда расплеснется за крайними домами левое крыло озера. Не чета Песковское двум Юровским, хотя и зовется одно из них Большое. А какое оно большое, если до чистины надо прорезью в кочках и камышах плыть да плыть! С берега летом и воды не видать, даже островок с тальниковым кустом мало заметен. Да и страшно туда заплывать, когда утрами и вечерами во все-то легкие бухает скрытая птица — выпь. Кажется, само озеро ворочается и тяжело вздыхает, будто старается освободиться от трясуцей лавды¹.

Песковское озеро, как море в книжках. С одного берега на другом человека не рассмотришь, бровастые волны расшибаются о песчаный берег и звучно пошлепывают дощатое брюхо плотков. На нем и лебеди останавливаются, и турпаны чернеют, и чернедь хохлатая зеркалит-пестрит, и чаек каких только нет, и куликов, куликов сколько! Тут и с воробышка, тут и с курицу величиной...

К дяде Василию завернули мы ненадолго. Попили молока, рассказали свои новости, узнали, как воюет их Коля. А черноголовому сродному братишке Иванку я помог разорить в крыше амбара верткого воробья. Яички достал крупные, «галанские», как мы привыкли называть такие яйца. Иванко благодарно пошвыркал носом и хотел отдать мне все пять, но я отказался. Куда с ними в дорогу, а на базаре их все равно не продашь.

У Серебряковой роци посидели в тени малинника, усыпанного подслеповатыми цветочками, поели зеленых лепешек с варенцом и снова в дорогу. Возле Першинского

¹ Морды — рыболовный снаряд из прутьев в виде воронки.

² М а н и ш к и — плотно плетенная из прутьев рыболовная ловушка в виде корчажки.

¹ Л а в д а — плавучая трясына.

свертка не думали о привале, но повстречался нам военный при погонах. Правая рука на черной повязке прикрыла награды, и виднелась заплатой лишь разноцветная нашивка за ранения. Зато на левой стороне гимнастерки я увидел и орден — серебристую звезду, и белые, и желтые медали.

Мы поздоровались с военным, он вежливо ответил на бабушкин поклон и почему-то с огорчением посмотрел на меня.

— Малец-то, поди, некурящий, бабушка? — не выдержал солдат.

— Слава богу, не балуются у меня внуки табачком. И старший сын Ваньша, ихний-то отец, всю жисть не курит, на хронте и то не привык, — похвалилась бабушка.

— Оно и добро, добро, — согласился военный. — Да курево вышло, раскурили артельно махорку, пока добирался до Далматово.

— Ну и полно горевать, чего кручиниться, сынок!

Бабушка ловко сняла котомку, и не успел солдат отказать для приличия, как ему в левый карман штанов бабушка насыпала своего табаку.

— Он у меня крепкой, для отца-покойника научилась вымаривать-выдерживать. Дак ты уж полегше затягивайся, ладно?

— Ой, ну и ну! — заулыбался весело солдат, и медали с орденом тоже отозвались колокольчиковым перезвоном.

— Спасибо тебе, бабушка. Спасибо! Как покурю, так на крыльях долечу до Ключей.

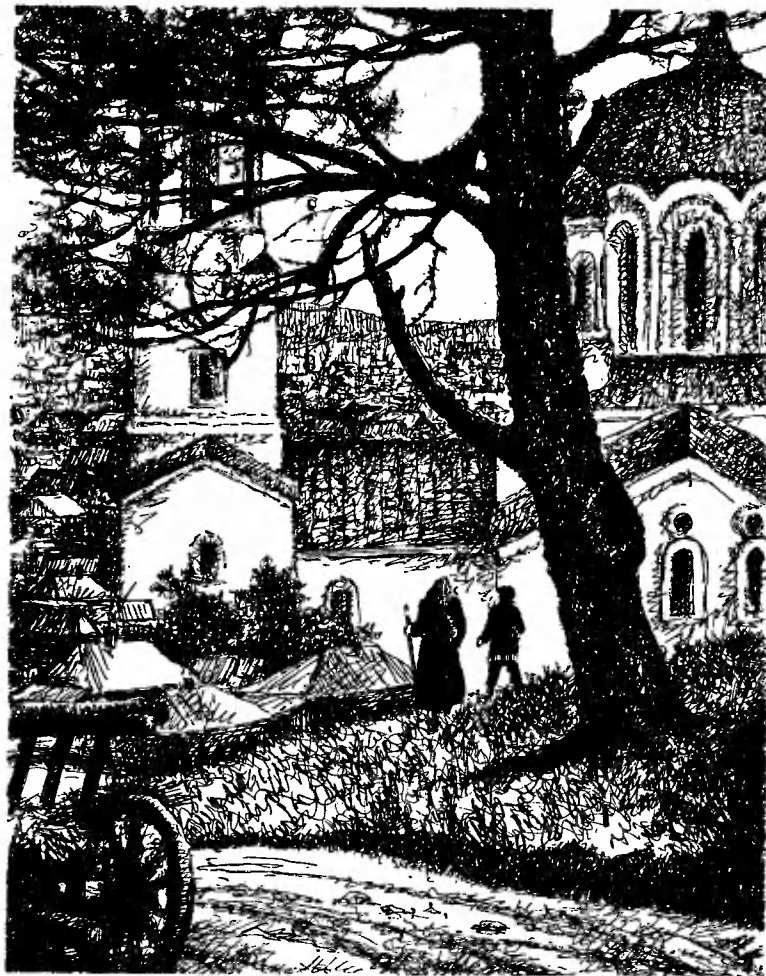
— Тебе, тебе, сынок, спасибо! Выздоровливай, поправляйся, милой, да лети, лети, сокол, обрадуй сродственников. Мать-то, поди, глаза все проглядела...

Военный, верно, чуть не побежал, а бабушка заметно сбавила шаг, часто оглядывалась назад и утирала платком глаза.

— Видишь, Васько, а? — остановилась на Затеченской горе-раскатихе бабушка и показала рукой вдаль.

Сколько книжек перечитал — и у детдомовцев, и в школе, и церковные умудрился читать, а такая красота и не снилась... Мне казалось, мы с бабушкой парим в небе над селом под горой, над рекой Течей и тальниковой долиной, — а из лазоревой дали сверкает город, и вовсе не монастырь — Московский кремль белеет стенами и башнями...

Даже при бабушке я боялся сказать вслух, если видел красоту. И тут втихомолку дивился и верил тому, о чем



пишется в книжках, что увидел не во сне, а наяву. Лукия Григорьевна тоже не умела ахать да пустословить, она тоже больше ни о чем не говорила и ни о чем меня не спрашивала. Ей самой было любо смотреть с горы на дивное, пусть и привычное давно; она понимала без слов все, о чем думал ее внучок.

Показывать, что ты из дальней деревни, я стыдился и все-таки успевал приметить ядренные дома по сторонам,

яркие цветы на подоконниках, изукрашенные наличники окон, дерзких ребят и бодро-нарядных девок. Но Затечу мы прошли быстро, не задержались и на мосту, где вилась меж тальниковыми берегами скороводная Теча. Мы торопились в город, на базар.

Однако перед длинным исетским мостом спустились с крутой дамбы и очутились у речной шири. Во всю ширь бежала и бежала слегка мутноватая вода, на мели у песочного мыска темно-зелеными щепками торчали неподвижные щурята, плескались и слепили глаза незнакомые рыбины.

— Смоем-ко дороженьку, — наклонилась к реке бабушка, и я тоже осмелился набрать пригоршнями ласковой прыткой воды.

Щурята сразу сгнули вглубь, и только неведомые светлые рыбки смело подскакивали над рекой, и течение тут же разглаживало круглые морщины.

Умылись, подержали ноги в воде и доели лепешки из кобыляка. Теперь можно додужить, пока расторгнем табак и варенец, а потом и хлебного наедемся.

Базар совсем не походил на тот, какой я ожидал увидеть, когда слушал бабушкины рассказы. Далматовский торжок, по ее словам, считался вторым после Ирбита и Крестов. В Ирбит на ярмарку съезжались купцы даже из заморских стран, там покупали все, что душе угодно.

Однако и в Далматово раньше по базару глаза разбегались. Тыщи пудов рыбы — осетров, стерляди, сырков и окуней, обозы с хлебом, говяжьими, бараньими и свиными стяги, сало и масло топленое, семя конопляное, кожи и овчины, холсты льняные и конопляные, гуси и утки, шкурки горностаевые и заячьи... А самовары пузатые с чаем, витушки и калачи, шаньги и баранки... А сколько фигурных пряников, белые «головы» сахара, расшитые малиновым гарусом казанские пимы, чай и леденцы в баских железных банках...

Вместо длинных крытых рядов вокруг площадки у вокзала тянулись вкопанные столбики с набитыми на них нестругаными досками. Они напоминали не столы, а лавки и нары по лесным избушкам и в бригадных конюховках. За прилавком стояли те, у кого товар побогаче, а кто победнее, навроде нас, сидели прямо на земле. Возле них отыскиали и мы свободное место, прижались к бордатуому старику.

Бабушка не торопилась развязывать котомку с табаком и открывать горшок варенца. Она приглядывалась и при-

слушивалась к публике, а я рассматривал нашего соседа. Он, казалось, не верил лету и потому оделся по-зимнему. На густые брови была надвинута старая овчинная шапка с надорванными ушами, из-под бурого в заплатах зипуна торчали подшитые брезентом чесанки. Тонкий прямой нос и худое коричневое лицо скрадывала густая, чуть рыжеватая с проседью борода. Печально смотрел он на что-то завязанное в большую старинную шаль. Видать, чего-то принес продавать и жалко ему расставаться с вещью, поэтому не решается показывать свой товар, хотя торговля идет всюю.

— Свежие шаньги, свежие шаньги! — в нос распевает дородная, толстощекая баба. Одета она чисто и аккуратно, бела лицом и красна губами. Перед ней горка сметанных и черемуховых наливчатых шанег, а остальная стряпня в трехведерной корзине прикрыта льняной скатеркой.

Во рту густеет слюна, и я перевожу взгляд на сутулую старушку. Она продает из широких латок сметану и варенец, ловко черпает деревянной поварешкой и скороговоркой приглашает покупателей:

— Испробуйте, милые, испробуйте! Сметана густая, варенец — ешь, не хочу!

«Славная старушка...» — думаю я.

У старушки охотно пробуют деревянной ложкой сметану и варенец, крикают и хвалят, однако редко кто берет. Люди направляются дальше, где высится кадка сметаны, разложены кральки и калачи. Но тут хозяйка с суровым мужицким лицом вовсе не думает угощать задарма. Давеча, когда мы пробирались с бабушкой, она так сузила на меня зеленые глаза, будто крапивой стегнула.

К моей досаде, сметану, кральки и калачи покупают как раз у сердитой бабы, а не у старушки. Молча рассчитываются и без задержки уходят. «Может, от колхоза или сельпо торгует», — гадаю я и поглядываю на городских ребят. Они нахально толкуются по базару, бессовестно пробуют у старушки сметану с варенцом, воруют семечки и табак у деревенских баб и старушек. Как бы и у нас не украсили?..

— Чем торгуем, отец? — вспугнул мои мысли хриплый голос над головой.

Возле старика остановилось трое мужиков в одежде железнодорожников.

— А ничем, ребята! — тихо откликнулся дед и полез в карман зипуна за кисетом.

— Как ничем? А здесь что? — кивнул все тот же мужик на узел.

— Гармонья тут-о-ка, тальянка. Да не ко времени товар-то мой, не до веселья пока что народу, — еще глуше сказал старик, зализывая языком цигарку.

— Так оно, — вздохнул второй и покачал кожаным картузом.

— А ты покажь, дедусь, — мягко попросил третий — круглолицый и черноволосый.

— Показать-то не жалко, показать можно, — пыхнул дымом старик и осторожно развязал концы шали.

Они соскользнули, и мужики и мы с бабушкой увидели тальянку. Потускнел от времени и потрескался черный лак, а лады столь белы, словно не гармонь, а веселый человек улыбнулся во весь рот.

Старик затушил цигарку о брезентовую подошву левого чесанка, легко взял тальянку на колени и чуть-чуть развел алые мехи гармонии.

— О це добра! — цокнул языком черноглазый и подмигнул товарищам.

— Сыграй, отец, — попросил первый — белобровый и впалощекый.

Старик положил голову на гармонь и задумался. И тут вдруг протяжно загудел паровоз, и задрожала земля от тяжелого перестука колес. Все оглянулись к вокзалу, а трое мужиков кинулись на станцию.

— Эшелон... — слышал я, как на бегу отрывисто сказал белобровый остальным.

Что-то лязгало и стучало, пока поезд не остановился всеми деревянными вагонами. И когда он затих, по базару порхнули слова: «Солдат... Красноармейцев... Бойцов везут... На фронт...» Бабушка враз оживилась, а старик поднялся и стал сворачивать новую цигарку.

У каждого вагона заоткатывались простенки, и тут же на землю завывали солдаты. Они о чем-то спросили у тех железнодорожников, что-то закричали и побежали к базару. Навстречу им визгливо-гнусаво заголосила толстощекая баба:

— Шаньги, свежие шаньги!

— Сметана, варенец, сметана! — подпевали ей.

— Табачок-крепачок, со второй гряды от бани, закури-ка, дружок! — взвился чей-то тонкий голос.

Базар ожил: люди поняли, что только сейчас и начнется бойкая торговля. Эшелон, может, долго постоит, и можно

распродать и шаньги, и сметану, и варенец, и табачок, и многое-многое другое. А мне и дела не было до купли-продажи. Я забыл и шаньги, и сметану, и кральки, и калачи.

Первыми забежали на базар два солдата в побелевших гимнастерках и штанах. Но все на них ладно сидело, горели на солнце пряжки ремней и пуговицы, ордена и медали. Пилотки одеты набекрень, и как они держались поверх русских чубов — я диву давался. Оба мигом оглядели базар и, как по команде, повернулись к старику с тальянкой, поздоровались чинно, и один, пониже ростом, поинтересовался:

— Играем, папаша?

— Было время, сынки, играл. А теперь вон продаю. Старуха, Кузьминишна моя, хворает, а поесть-то нечего. Худо со старухой, — грустно покачал головой старик.

— И как, нет покупателя?

— Нету-ка. А даром жалко отдавать. С гармонью смолоду живу, ерманскую и гражданскую с ней прожил. Сам на свадьбе своей играл, сыновей женил с тальянкой.

— Сыновья-то чего же... — проговорил и осекся второй, повыше, с широкими полосками на погонах.

— Тамо оне, робята мои, все четверо тамо. И... двоих нам уже не дожидаться, — сдвинул брови старик и протянул солдатам кисет. — А вы, сынки, покурите моего табачку. Покурите...

Дед обрадовался, когда солдаты стали сворачивать цигарки, и даже повеселел. И смотрел он на них неотрывно, как и мы с бабушкой.

— Может, и грешно, папаша, а сыграл бы ты для нас нашенскую, деревенскую, а? — заикнулся коренастый солдат, затягиваясь густым дымом. — Когда еще тальянку услышим.

— Чего не сыграть. Для вас, сынки, сыграю. Навроде как бы для своих робят.

Старик как-то очень ловко вскинул гармонь, прикрыл веки, и тонкие сухие пальцы незаметно приласкали лады. И серебристо зазвенели колокольчики-бубенчики, и запели птицы, и посыпалась роса с трав. В нутре тальянки просыпалось деревенское утро, оживали тальники по низям, и леса на увалах, вставали люди и ехали с песней в поле встречать на работе восход солнца...

Музыка замерла, старик к чему-то прислушался, после лихо стряхнул шапку на шаль, и не он, а гармонь вроде бы



подбоченилась и пошла кругом отплясывать «барыню». А мне казалось, будто у нас в Юровке вывернулся тракторист Михаил Грачев и кренделем закрутился-закувыркался с припевом:

Лебедин-от мой, лебедин,
Лебедин Иванушка,
А лебедушка-от Аннушка...

— И... Эх! Шире круг! — ахнул кто-то, и замелькали начищенные сапоги, заподпрыгивали на гимнастерках орден и медали.

Плясали и солдаты, и командиры, а верховодили те, первые солдаты. Иные стали было чего-то покупать, да как услышали гармонь — посыпали на ее голос.

— Господи! — дивилась бабушка. — Мне и в девках не довелось слышать такого гармониста!

Старик удало наяривал, а солдаты плясали. Я заметил, как из круга исчез коренастый солдат. И когда гармонь запалилась и смолкла, а плясуны — кто платками, кто пилотками — утирали лица, он появился с зеленым мешком. Сунул туда руку и на шаль выложил сперва две буханки хлеба, а потом три железных банки.

— Мясных консервов, — пояснил солдат и к ним добавил несколько кусков сахара: — Для твоей Кузьминишны, папаша. Кланяйся ей, пускай выздоравливает. И сынов дождаться вам. А тальянку не продавай. Добьем фашиста — приеду. Из Сибири, с Енисея родом я. По пути и заеду погостить, и на тальянке наиграюсь... Не-не, не предлагай, папаша! Зарок дал: гармонь возьму в День Победы. А зарок сибиряки умеют держать.

У старика дрожали ресницы, он отказывался и разводил руками:

— Да за чо, за чо мне стоко угощенья?! Да и нечем отплатить...

— Как нечем?! — вмешалась бабушка. — Сынки! Покуда ешелон стоит — успевайте табачок по кисетам насыпать. И варенца отведайте — прямо из горшка пейте. Кому пенки глянутся — ложку берите.

Старик видел бабушку впервые, да ничего не нашелся ответить и молчком смотрел, как она наделала служивых табачком, радовалась тому, как они хвалили ее варенец. Вон от горшка оторвался командир — по четыре звездочки на погонах я насчитал, вытер губы и спросил бабушку:

— А у тебя, мамаша, сыновья есть?

— Есть, есть, как же? Трое там, куда вас везут. Оне у меня некурящие, дак вы хоть за них покурите табачку.

— Сержант Воробьев! — негромко, но строго скомандовал командир, и сразу же возле него появился тот, кого он звал.

Больше он ничего не сказал, а Воробьев понял, и на опустевшей бабушкиной котомке оказалась буханка настоящего хлеба и два здоровенных куска сахара.

— А тебе, паренек, — наклонился командир, и я близко увидел трещину — красно-синий неровный след залеченной раны на щеке, — тебе вот на память. Держи! И знай, победа скоро придет, завоюем. И батя твой вернется, и дядя вернутся. Держи!

У меня на потной ладошке спелым вишеньем отливала новенькая красная звезда. Не крашенная, какую принес Захар Бателенок племяннику Санку, а покрытая красным стеклом. Прямо как орден, какой алел на правой стороне груди у командира.

— Спасибо... — застыдился я, а командир погладил мою голову твердой ладонью, распрямился и громко огласил:

— По-о ваго-о-нам!

Базар снова опустел, солдаты без толчеи покинули его и побежали к эшелону. Знакомый чубатый сибиряк сдернул пилотку и помахал нам:

— До встречи, папаша! Смотри, доживи и тальянку сохрани. Бабушку свою береги-и-и!

...За мостом мы снова спустились к реке. Теперь я озибался на тальники, боялся за звезду. Вдруг городские видели, как мне дал ее командир, и надумают отобрать? И бабушка была не спокойна и не разговорчива. Она ополоснула водой ноги, присела на траву и повернулась на запад, куда ушел эшелон с солдатами. Наверно, вспомнила старика с тальянкой. Уж если она не слыхивала такой игры и голосистой гармонии, то я и подавно.

К вечеру мы пришагали с бабушкой домой, где на заулке у ее ограды лежала корова Зорька и бульдожка Джек, а на заплоте¹ мяукала сивая кошка Машка. Луккия Григорьевна посветлела лицом и тихо вздохнула:

— Гли-ко, Васько, все животины в сборе, ждут-пождут хозяйку...

Ночью бабушке долго не спалось, она ворочалась, и скрипели полатницы. А я в изголовье положил красную звезду, и впервые тревожили меня взрослые сны.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Утром ко мне прибежал Ванька Парасковийн, и мы пошли в пустой дом Николая Мастеровых, еще до войны уехавшего в город. Он стоит сразу же за бабушкиной

черемухой, и она называет его нашей сборней — местом сбора всей ватаги дружков-приятелей. Ребятам не терпелось узнать, как мы сходили с бабушкой в Далматово и что там я увидал. Однако красная звезда пошла по рукам, и разговор начался совсем о другом. Ванька Фып долго не задержал ее на своей ладони:

— Наш тятя вот-вот придет из госпиталя и не одну, а целую горсть звезд привезет мне!

— Хвастай, хвастай! — рассердился Володька Мальгин, забирая у Ваньки звезду.

— Ух баская! — вырвалось у Вовки Барыкина. — Интересно, как она окрашена?

Вовка колупнул ногтем алую эмаль, но на звезде не осталось и царапинки:

— Крепкая, ее и немецкая пуля не возьмет!

Дольше всех держал звезду эвакуированный Миша Вербицкий.

— Мой папа всегда носил такую звезду, — вздохнул Миша. — А за войну с белофиннами он получил орден Красной Звезды.

— Тогда пусть звезда и будет орденом, а? — подхватил Осяга.

— Она ж на всех одна, нас во-он сколько! — жалобно протянул Ванька Парасковийн.

— Заслужишь — наградим, правда, ребята?! — серьезно сказал Миша Вербицкий.

— Чем ее заслужишь? Где они, враги, в Юровке? — загрустил Ванька, и нам всем стало смешно.

Ванька самодельного поджигателя боится, а из чего бы он фашистов начал стрелять? Наган ему не удержать, а винтовка раза в три длиннее Ваньки.

— Чо смеетесь? — обиделся Ванька и чуть не разревелся. — Думаете, я боюсь немцев? Как в баню ночью за лампой надо, так Ванька беги, а тут и смешно...

— Ладно, ладно, Ваньша! Немцев немало пожгли нашими склянками. Со всей Юровки собрали бутылки на фронт, — вспомнил Осяга.

Что верно, то верно! В первую военную зиму мы с ребятами после уроков до потемок бегали по деревне, заставляли стариков и старух шарить в поднольях и чуланах, старались как можно больше сдать бутылок под горючую смесь — поджигать ею вражеские танки. Мороз к вечеру зверел, рвал с треском и звоном на улицах землю, и мы пугались за посуду в коробке на санках. Бутылки на

¹ Заплот — забор.

стуже белели изнутри, и стекло становилось хрупким... Все подряд мы ознобились, приходили в школу с распухшими ушами и черными пятнами на лицах. Спасали гусиным жиром себя и учителей...

Теплая и потная звезда вернулась ко мне, только уже не была она больше моей: теперь звезда общая, и не просто звезда, а орден! А за что и кого награждать — это пока мы не решили.

Домашней работы ни у кого не нашлось, и Осяга повел нас купаться на Мальгин пруд. Маленькое озеро густо зацвело зеленью, а пруд в логу перед речкой Крутишкой всегда чистый, донные ключи не дают застояться воде. Одно боязно мне: чуть нырнешь поглубже, и студеная вода сводит судорогой ноги, накатываются на бедрах под кожей тугие шишки с кулак, да до того больно сгибаются ноги против моей воли. Говорят, будто матросы тычут в них иголкой или булавкой и судорога отпускает. А где взять их? У мамы каждая иголка на счету.

Конотоповым заулком сбежали на Подгорновскую улицу, а там налево за домом Анисьи Мальгиной и пруд. Первым изладил плотину еще дед ее мужа Ефима, а после запруду подправляли всем околотком. Но пруд так и зовется Мальгиным. «У всего должно быть имя, Васько!» — заметила бабушка, когда я удивился, что даже таловый куст в пашне у Трохалевского болота она назвала при мне Оськиным кустом...

На бегу мы сняли рубахи, а при спуске с берега скинули и штаны. Осяга бултыхнулся с плотика, следом — Володька Мальгин, а там, брызги по сторонам, попрыгали один за другим и все остальные. Ванька Фып увязался за Мишей Вербицким, забыл, что ли, где тот научился плавать. Не на пруду или на Маленьком озерке, а на реке Днепр!

Миша саженьками пересек пруд и поплыл обратно, а Ванька по-собачьи пурхался еще на середине. Вдруг он начал часто уходить с головой под воду, хотел что-то крикнуть и не успел — захлебнулся и скрылся под водой.

— Фып-то пузыри пустил! — весело закричал про своего сродного брата Ванька Парасковьин. Плавать он пока не умел и потому брызгался у берега да возле плотика.

— Какие пузыри? Ребята, Ванька взаправду утонул! — ахнул Осяга и ринулся на середину пруда.

С перепугу никто не заметил, когда исчез под водой



и Миша Вербицкий. А как спохватились — вовсе заголосили. Но Миша неожиданно всплыл около Осяги, и тот хватанул воды ртом, заикаясь еле прохрипел:

— В-В-Ванька-то где?!

Миша приподнял правую руку, и под водой показалась голова Фыпа. Вдвоем с Осягой они быстро дотащили Ваньку до мели, а на сушу вынесли на руках. Как нас учили в школе, так мы и стали трясти Ваньку, растирать грудь

и делать ему дыхание. Наконец он разжал зубы и заблевал одной водой.

— Живой, живой! — завопил Ванька Парасковьян.

— Без ты видим, что живой! — прикрикнул на него Осяга. — Ты-то хоть, окурок, не лезь на глубину, тебя искать в пруду — все одно, что иголку в сене. Добро, хоть Миша рядом очутился, а то бы и не видать Ваньше своего тятю.

Солнышко палило немилосердно, а нас била дрожь, все никак не проходил испуг за дружка. А он враз заревел и слез пустил не меньше, чем воды из брюха. Мы не уговаривали его, пускай проревится.

— Васька, давай звезду, — шепнул мне Осяга, и я живо подскочил к своей одежде, вытащил из кармана красную звезду и протянул ее Осяге.

— Ребята! — голос у Осяги зазвенел, и Ванька Фып перестал всхлипывать. — За спасение человека Мишу награждаем орденом Красной Звезды! Носи, Миша, всегда его на рубаше!

— За что? Зачем меня, да что я сделал?! — растерялся Миша и покраснел.

Но Осяга уже ловко проколол усиками его рубашу и накрепко пригнул их на левой стороне.

...Наверное, Миша сберег бы звезду-награду на всю жизнь, будь у него больше рубах. Со звездой поехал он вывозить сено кузнецу Петру Степановичу, у которого жили они всей семьей с первого дня приезда в Юровку. То ли он худо затянул воз бастрыком, то ли ложбинка виновата — телега накренилась, и сено повалилось на кусты боярки. Миша пробовал удержать воз вилами, а они сломались, и его завалило самого. Пока выбирался из-под сена, бояркой изорвал рубашу, и потерялась где-то звезда.

— Лучше бы ты ее, Вася, дома берег в шкапчике, целая бы звезда была...

Недолго пришлось печалиться Мише. Как-то у сельсовета остановился грузовик с двумя военными, командиром и солдатом. Командир пошел в сельсовет и оттуда вернулся вместе с новым председателем, Максимом Яковлевичем — инвалидом фронта.

Мы прибежали с Ванькой Парасковьяным посмотреть машину и узнали, почему на ней из Далматова приехали военные. Оказалось, они прибыли за семьей Вербицких.

— Вы, товарищ капитан, не ошиблись? Мне рассказывали, что муж Вербицкой пропал без вести в самом начале войны, — переспросил председатель.

— Никак нет! — отчеканил военный. — Все точно сообщили полковнику. Москва разыскивала его семью. Долго искали, война...

— Мда, — покачал головой Максим Яковлевич. — Много народу растрясла она по стране, найди-ко друг друга! Мы с братом рядышком были, в одном бою участвовали и не встретились. В госпитале из письма узнал, где он воюет, там меня из строя и вывело. Да что вам рассказывать, вы не меньше моего повидали. А я покажу вам, где Вербицкие живут, совсем тут близко.

— Не надо, товарищ председатель. Вон хлопцев прихватим, чай, знают Вербицких. — Капитан кивнул на нас.

— Знаем! — опередил меня Ванька.

— Коли так, марш в кузов! — протянул он нам сверху руки.

Командир подсобил, и мы с Ванькой очутились в грузовике. Жаль, больно близко дом Петра Степановича! Всего-то и прокатились заулком к озеру, а тут направо с края и квартира Вербицких. Все, кроме Миши, были дома, а он помогал дедушке Петру в кузнице, и мы с Ванькой бросились за ним.

На следующий день Вербицкие уезжали из Юровки. Марина Казимировна раздаривала гостинцы мужа, с плачем прощалась со всеми, кто пришел провожать.

— Не поминай лихом, Марина Казимировна, — вздыхал Петро Степанович, а бабушка Степанида перекрестила всех Вербицких:

— Дай бог вам счастья! С муженьком-отцом увидаться. Раз нашелся он и вас нашел, то и жить вам вместе долго да в благополучии.

Миша, как взрослый, пожал нам руки, а потом он о чем-то зашептался с капитаном.

— Не велика беда, Михаил! — засмеялся командир и расстегнул полевую сумку. Порылся в ней и что-то подал Мише.

— Вася! — протянул Миша руку, и губы у него задрожали. — Вот папина звезда, бери ее на память. Правда, не новая, эмаль потрескалась, зато она боевая! Бери, Вася, и от папы и от меня!

— Нет, нет! — отпрянул я. — Ты что, Миша, выдумал?

— Бери, паренек! — наклонился ко мне капитан. — Звезда не простая, ее наш полковник носил. И береги! Счастливая она. Потому и зовется Красная Звезда!

— А Ванька-то Пестов голубков развел! — удивленно шепнул нам с братом Осяга, когда мы от школы потянулись нестройной цепочкой на прополку пшеницы в первой бригаде нашего колхоза.

— Где он их взял? — громко спросил я и получил тычки в бока сразу от брата и дружка.

— Тише ты, разорался! — зашипел Кольша, озираясь на ребят: а вдруг да подслушивает кто?

Можно бы потерпеть до поля на Штату, где мы школой второй день дергали занозистый и жилисто-крепкий осот, а Осяга не удержал в себе новость, и сейчас уж нам не успокоиться все равно. Мы отстали и начали пытаться дружка, будто он сам завел дома голубей. Не верилось, что рыжий Ванька где-то смог достать голубят.

До войны голубей на чердаке каменной часовни напротив школы водилось столько, что когда они вылетали оттуда, то далеко разносился гром железной крыши. И хотя в часовню перевели сельмаг и его охранял с берданкой дедушка Максим, детдомовцы переловили и съели всех голубей в первое же прожитое лето в Юровке. Тех отчаянных парней из Лебедяни давно нет в детдоме — взяли их на фронт, и теперь они воюют не с деревенским стариком из-за голубей, а с германцами.

Наших голубей съели детдомовцы, а в соседней деревне Макарьевке эвакуированные ребята не побоялись поднебесной высоты церковной колокольни — тоже, сказывали, извели голубей на суп. Когда позапрошлым летом у бабушки уволокли детдомовцы последнюю пару голубей, то соседка Мавра Яковлевна больше всех ругалась:

— Гли-ко, окоянное племя, святую птицу жрут! Да как это можно!

— Голод, Мавра, голод... У нас-то с вами хоть животи́на какая-то водится, а у приезжих ни кола, ни двора, всё война отняла, — тихо молвила бабушка Лукия Григорьевна. И добавила: — А ты, соседushка, вспомни-ка тридцать третий голодный год. Вспомни, чего и кого мы сами тогда не переели? Не токо голубков, а хомяков жарили...

Где, где рыжий Пестик нашел голубят? Вон вразвалку идет он рядом с учительницей Александрой Евдокимовной Коровиной и в берестинку насвистывает. Сытый, одежда — рубаха и штаны — без единой заплаты. Ему что? У него отец — шишка вторая после председателя колхоза, а то

и выше. Председатели меняются один за другим: этого на фронт, того снимут, другого в район переведут, а Григорий Павлович как был полеводом до войны, так и командует по сей день. А еще старший брат у Ваньки воюет командиром, и они за него что-то получают. Нет, не питаются Пестовы чем попало! И уж если кому везет, так тому всегда везет...

Если бы кто-то беднее завел голубят — нам бы тоже интересно, где он достал, но хоть не обидно. Да такие ребята и не утаили бы, взять Осягу или Алёху Шавкунова, Ваньку Воробья или Кольку Золенка. Ванька Пестов и не вредный парень, и мы с ним ни разу не ругались. И не жадный он, иной раз запросто куском хлеба поделится. Но все равно обидно, что именно он развел самым первым в Юровке, казалось, всех съеденных голубей.

Осяга случайно увидал, забежав за Ванькой по дороге в школу. Сизый голубь и пестрая, белокрылая голубиха клевали у него с ладони зерно и по-цыплячьи пищали. Ваньку он застал врасплох, и тот с перепугу просыпал зерно на землю и весь стал красным — не отличишь волосы от лица. А Осяга-то хитер: будто и не заметил голубей и зерно и не полез с расспросами. Ну и Ванька хитер: сбегал в дом за чем-то, а как вышел из ограды — Осяге отделил добрый кусок картофельного пирога.

— Думал вам оставить, а пирог теплый, скусный, и сам я не понял, как весь кусок проглотил и не подавился. — напрасно оправдывался Осяга.

Раз не было нас рядом — стало быть, не тащить же ему надкусанный пирог в школу. Правильно сделал, что сам съел! И Ванька не зря его подкормил, с умыслом, чтобы про голубей не сказывал. Да вот и сказал нам, а что из того? Все равно мы не знаем, где он их достал. Украсить же голубей у Пестова невозможно: одна черная дворняга с весны живет без привязи под яблонями, а растут они только у Пестовых. Вторая собака — овчарка — на цепи, но на ночь они спускают ее, и она тебя где хочешь достанет. С любого вора шкуру сдерет такой кобелище...

Разгадывая Ванькину тайну, мы прошлепали поворот на Штат, и пришлось догонять своих прямо посевами. А на пути по низине-суглинку осоту напредило — ступить некуда босиком! Начали его дергать еще и потому, что за простое хождение хлебами может влететь нам от бригадира Василия Николаевича Грачева. Он на своем Игреньке все время на поле.

С фронта Василий Грачев вернулся без правой ноги. До войны работал он на тракторе, и не было добрее его к ребятишкам — всех катал на колеснике. А тут вредным и злым стал, и кого на горохе заставлял — немилосердно понуждал сыromятным кнутом. Может, так и надо было?.. Но все равно лучше не попадать ему на глаза где не надо...

К обеду мы пробились через осотистую низину туда, где пололи все, а там вскоре перешли под гору к речке Крутишке, и каждый получил у поварахи по кружке распаренной пшеницы. Ничего, что мало и зерно целое, а не каша. Зато хлебное, и с кружкой пшеницы можно дотянуть до такого далекого летнего вечера.

В обед и додумался Осяга до своей догадки:

— Роба, а Ванька достал голубей у бабушки Соломеи. Больше нигде. У нее, мама сказывала, живет пара старых голубей под сараем. Ворожить она ходила к ней и своими глазами видела. Это после похоронной на нашего Василия...

— Хмы, а чо же мы с вами ни разу не видели? Сколь ведь раз на угор пробегали мимо бабушки Соломеи? — не поверил Кольша.

— Ну и как мы их увидели бы, если они летают низом на ограде? Нет, только у Соломеи и стибрил Пестик голубят или купил на зерно! — убеждал нас Осяга.

— Ладно, — решил за троих Кольша. — Завтра и проверим под сараем у Соломеи. Александра Евдокимовна давеча сказала, что сегодня последний день на прополке хлебов.

Я не знал, как спалось брату — мама не давала нам в постели шептаться, — а я ворочался с боку на бок и, чтобы не получить тумака и не мешать отдыхать маме и сестре, укатился под лавку и на голом полу все-таки уснул. Впервые во сне видел сизых голубей, поднимался вместе с ними над нашей избой, выше тополины. Голуби начинали кружиться, а я... падал. Сердце обмирало, я пытался звать на помощь маму и кричал, но никто меня не слышал, и я сам свой голос тоже не мог услышать. От этого становилось еще страшнее и жалче себя — вот-вот упаду я и расшибусь до смерти, никогда больше не увижу тятю...

— Что-то ты, Васька, всю ночь трусил? — ворчала утром за столом мама. Из-за меня она, ясное дело, не выпалась как следует, а ей весь день работать в детдоме.

— Не знаю, чо, — проямлил я и раньше всех облизал

свою ложку: дескать, я сыт и за столом мне нечего больше засиживаться. А хотелось еще и еще хлебать щи из свежей свекольной и морковной ботвы, приправленные луковым пером и забеленные сметаной.

— Гли-ко, сколь скоро ты сегодня наелся! — усмехнулась мама.

А я уже выскочил из-за стола и побежал к колодцу — черпать воду в кадки и деревянное корыто. Вчерашнюю мама до солнцевосхода располивала на огуречные гряды и помидорную рассаду. Доставать из черной пустоты тяжелую, кованную железом бадью с водой и нелегко, да и сплеснешь обязательно на босые ноги — обожжет их ледяным холодом, зато между делом сорвешь огурчик. Обмоешь его в кадке, и он враз запустится светло-зелеными боками, станет холодным и вкусно-хрустким.

Ем огурец и вспоминаю, как прошлым летом в сенокос напросился у мамы черпать воду за нас детдомовец Вовка Блюденов. Парнишка он тихий и послушный, единственный из всех не только напуганный бомбежкой, а и раненный в бедро. Это когда эшелон с ребятишками немецкие самолеты разбомбили и он бежал степью от вагонов, фашистский летчик догнал его и строчнул из пулемета. Ладно, хоть одна пуля попала в бедро... Вовка налил воды во все посудины, а потом дорвался до огурцов. А когда явился в детдом, ему стало худо — вздуло живот, и мама с перепуганными воспитателями еле откачали Вовку на площади перед бывшим клубом, а теперь детдомом. После того случая даже Блюденову, а его особо жалели все женщины, работавшие в детдоме, больше не доверяли пособлять в чем-то у себя дома.

«Мало ли что может приключиться, и отвечай за дитенка, а тут и своих бед-горестей полон рот, хоть взаимы без отдачи давай!» — сказала тогда мама.

...Не заулкум, а прямиком, мимо пожарки, заторопилась мама на работу, похвалила меня и сорвала для меня пузатый белоносый огурец. Стыдно стало за самовольно съеденный огурчик, но я тянул изо всех сил бадью, и она не заметила краску на щеках. Попутно наказала нам с Кольшей натаскать воды в баню Антонида Микулаюшкиной, а она вечером протопит. Ну и к бабушке сходить, может, ей чего нужно помочь.

Могли мы пойти к бабушке Соломее и одни, однако уговор с Осягой сдерживал нас и пришлось ждать, пока дружок управится с домашней работой и прибежит к нам.

Втроем спустились мы из нашего заулка на Подгорновскую улицу. Она тянется берегом речки Крутишки вплоть до большого моста, через который все ходят на угор, в мамино село Пески и дальше — в город Далматово. Третьей перед мостом и стоит изба бабушки Соломеи, с огородом до самой речки. Изба маленькая, одностопок, крытая пластами с дерном. Не успел ее сын Федор перекрыть избу тесом — началась война, и он с одногодками ушел на фронт. Он и голубей развел, и так вышло, что его голубки только и сохранились на всю Юровку.

Улица как вымерла — никого не видеть. Взрослые заняты колхозной работой, а старушки да ребята на огородах пропахивают грядки и картошку окучивают на второй ряд. И бабушка Соломея в огороде, на коленях склонилась у морковной грядки, кажется. Значит, нам повезло и голубят сегодня достанем. Но Осяга заколебался:

— Лучше ночью, робята. Собаки у Соломеи нету, без всякого шума и догляда возьмем голубят, а?

— Нет, Осяга, лучше днем. Ночью воры лазают по чужим дворам, их за то и бьют и судят, когда изловят, — не согласился Кольша, и я живо поддержал брата:

— Правильно! Чо мы, ворье, что ли? И голубей ночью испугаем, они и улетят насовсем от Соломеи.

Посидели прямо на середине улицы недалеко от Соломеиной избы.

Да на улице хоть спи, не то что сиди: неизъезженная, всю ее затищило спорышем и пахучей ромашкой, и лишь по сторонам крапива с полынью вровень с пряслами поднялась. Это даже и хорошо, не так шныряют в огороды куры и гуси. Кольша о чем-то подумал и скомандовал:

— Ты, Осяга, шуруй к реке в кусты, и если баушка нас заметит с Васькой, то отвлекай ее. Пряслом тресни, будто в огород лезешь. Она и кинется за тобой. Узнать все равно не узнает, а догнать — и подавно не догонит. Я сам полезу из огорода под сарай, где голубиное гнездо, а Васька останется внизу на карауле. Ладно?

— А если через воротца? Соломеи-то в доме нет, и собаки она не держит, — подсказал Осяга.

— Не, нельзя. Из окошек Федориных видеть, а она, может, дома сегодня, — кивнул Кольша на избу соседки Федоры справа. Изба ее дальше стоит, но из окон Соломеина ограда вся как есть видна.

Когда Осяга скрылся в тальниковой гуще, мы пролезли под второй жердью прясла и подползли межой к ам-

бару. Ожглись крапивой, не без того, но вряд ли кто заметил, как мы проскользнули.

Между амбаром и конюшней был сарай, а в промежутке бревенчатая стена. Но она не достигала соломенной крыши, и Кольша по углу амбара ловко добрался до дыры и пролез под сарай. Тын огуречника сбоку конюшни и высокая конопля подле стен скрывали нас от глаз бабушки Соломеи. И все-таки я таился с боязнью за Кольшу и дрожал, как в стужу.

Чу, захлопали крылья — это слетели голуби, потом что-то сбрыкало — поди, литовку уронил Кольша, потом из-под крыши показалась лохматая голова брата, и он хрипло зашептал:

— Залазь сюда и принимай голубят. Да не задави, у них еще зорек-то нету.

Мигом добрался я до крыши и принял от брата сложенную вдвое фуражку с голубятами. Разглядывать некогда, скорее вниз. С фуражкой в зубах я выполз на улицу, разняв крапиву, огляделся по сторонам. Никого нет, можно смело подниматься на ноги и ждать Кольшу.

Как ни в чем не бывало я скатился по траве от ограды и растянулся на улице, ожидая брата. Потный и красный, он выбрался из крапивы, отдышался и глянул в огород: бабушка Соломея по-прежнему копошилась у грядки, а голуби сидели на крыше избы. Сейчас отойдем и свистнем Осяге, чтобы оставлял свой пост и бежал к нам.

Не терпелось посмотреть голубят, но Кольша не дал раскрыть фуражку, сразу забрал ее себе. Он и Осяге коротко бросил:

— Дома посмотрим, нечего середь улицы шары пялить. Не за тем лазили, чтоб кто-то увидел и отобрал голубят.

С шага перешли на бег и вперегонки домчались до нашего заулка, а затем заскочили к нам в огород — и прямо на крышу сарая. Здесь-то никто нас не тронет, здесь можно вволю наглядеться на голубят. Уж не задохнулись ли они ненароком? Кольша с боязнью развернул края фуражки, мы сунулись с Осягой и стукнулись лбами, но боли не почувствовали.

— Какие уродцы! — растерянно свистнул Осяга.

Мы с Кольшей молча рассматривали голубиных цыплят. Зобастые, синяя пупырчатая кожа в редких желтых ворсинках, головы маленькие, клювики тонкие и длинные... Неужто из этих голопузов вырастают красивые птицы голуби?! Дивились на несуразных голубят, и даже обидно



стало: столько страху натерпелось, на теле пупыри вздулись-забелели — до того пережглись крапивой, а тут... Воробьята и то пригляднее бывают... Смотрели и цыплята на нас — беспонятливые и беспомощные, а под ними в фуражке расплывалась зеленоватая жижа...

— Ничего, ребята, вырастим! — ободрил нас Кольша.

А голубята как будто ждали его голоса — зашевелились и запищали.

— Вырастим... — неуверенно повторил Кольша, должно быть, только сейчас и вспомнил, что зерна или печеного хлеба у нас нет, а червяков и мух голубята не едят.

Мы догадались, из-за чего расстроился он, и тоже испугались. Загубим зря голубят, не стащить ли их обратно?

— Айда, робя, к бабушке нашей, вон у колодца она! — крикнул Кольша, и мы прыгнули с крыши в ботву картошки.

— У Соломеи утащили? Ох и нехорошо, нехорошо, внушки... одна и утеха для нее — Федьшины голуби. Убили ведь его на войне, убили... Третьего дня похоронная пришла... — говорила бабушка и утирала запонем глаза.

Приуныли мы и вовсе, как услышали от бабушки о похоронной на Соломеино Федора. И до того стыдно, до того стало жалко Соломею — хоть реви и неси голубят с повинной... Что же наделали мы, пустоголовые!.. И зачем Осяга затравил нас голубями...

Бабушка повздыхала, высморкалась в запон и ласково молвила:

— Дак чо уж теперь с вами поделаешь... Растите, бог с вами! А я Соломее как-нибудь скажу, чтоб она не шибко убивалась о голубятах, не думала на детдомовцев. Растите, робятки!

— Баушка, а кормить-то их чем? — осмелел Кольша.

— Кормить?! А и правда, чем вы их кормить станете? Голубки-то их отрыжкой своей вскармливают, а вот вы чем? Хлебного у нас с вами — помелом мети, хоть гусиным крылышком — все одно, кроме пыли, ничего по сусекам не наметешь. Творожком можно изо рта, а опосля и зернышком расстараетесь.

— Спасибо, баушка! — хором вырвалось у нас.

Мы рванули огородом к нашей избе. Скорее, скорее! Творог есть, мама еще утром сунула маленьким ухватом две кринки простокваши на творог. Покуда творогом накормим, а потом можно у кладовщика Ивана Федоровича Грачева попросить полазть под казенными амбарами, все равно есть шелки в полах, и зернышки, наверное, сыплются на землю. Иван-то Федорович не в пример бригадир — добрый человек, нет-нет да и сунет нам по горстке гороха. А чтоб за милостыню не считали — найдет какую-нибудь работу: то телят отогнать из-под навеса, то гусей

проводить от амбаров на прудок к дедушке Егору. А ведь он тоже раненый с фронта пришел, правая рука на черной повязке, и сын у него Макарка с детства инвалид — простудился босиком на поскотине весной и хромает теперь. с костылями ходит...

Поочередно жевали творог и разевали рты, куда голубята совали свои клювики. Кольша все остерегал нас с Осягой:

— Смотрите, клювики у них мягкие, не изогните крючком! Голуби они, а не ястребы.

Из рта и водой напоили голубят; они перестали пищать, а глаза закрылись белой пленочкой. Уснули цыплята и головки уронили на полные зобы. Из фуражки переложили их в старую тятину шапку, сшитую из заячьей шкурки. Да куда вот ее девать? На печь бы, в тепло, но там дышет и ночует кот Мишка — ворюга из ворюг. Вон сосед Андрей Бателенок, чей огород выходит к нашему заулку, орал мне, будто кот наш изжевал все стручки сладкого гороха. Может, и верно: жрет же он бобы в своем огороде!

Сестра Нюрка ушла помогать маме стирать детдомовское белье, и мы, вытурив кота, двери не только плотно закрыли, а и прижали деревянной ступой. Надо сбегать на Маленькое озерко искупаться и Осяге помочь воды из ключа натаскать. А он не близко, в ложке, возле дома Федора, Трахомы по прозвищу.

Нашу маяту мама заметила. Она подозрительно поглядывала на нас и, лишь услышала слабый писк, строго спросила:

— А ну, кого опять притащили?

Кольша послушно протянул шапку с верхнего голбца, и мама ахнула:

— Голубята! Дикие, что ли? Где вы их нашли?

— Не, домашние!

— До-маш-ние... — пуще того поразилась мама.

— Ага!

— Поди, на Макарьевскую церковь лазали! — испугалась она.

Мы замешкались с ответом, и нас опередила сестра (бабушка успела рассказать ей про голубят и про то, где мы их взяли):

— У бабушки Соломеи украли, вот где!

Давно ли за растаскивание пороха и пистонов досталось нам с Кольшей.

Мы с братом приготовились расплатиться за голубят: с печи все равно никуда не удерешь да и ночь-ноченская на улице. Однако мама не стала ругаться — это тятино письмо, полученное сегодня, выручило нас. Заглянула она в шапку и сказала:

— Божья птица, голубочки. Смотрите, не уморите их, хлебного ведь ни крошки. Паек-то когда еще выдадут... А бабушке Соломее помогите картошку окучить. Слышали?

— Не уморим, не уморим, мама! — зачастили мы в ответ. — К бабушке Соломее завтра и побежим. А голубята вырастут — к тятю на войну с письмом одного пошлем. Оттуда он с тятиным письмом прилетит.

— Уж и вырастили, уж и с письмом послали, уж и почтальоном голубя изладили! — засмеялась мама. — Да где он отца вашего найдет на такой большой войне? Там живого места нету, везде одна смерть летает! Ладно, пускай голубки дома живут. А теперь спите-ко лучше, голубятники, горюшко мое...

Легли мы с братом по обе стороны шапки и зашептались о голубях, о корме для них, о том, что не у одного Ваньки Пестова есть голуби, но и у нас. А когда выведут наши своих голубят, отдадим Осяге, потом дадим Вовке Барыкину. Ему бы надо в первую очередь — сирота он, только бабушка и дедушка на всем белом свете у него: мать померла еще до войны, а отец прошлой зимой погиб под Сталинградом. Да зарок дали Осяге: первые голубята его, и ничьн больше!

Ваньке Пестову чего не выкормить? У них зерно не переводится с самого начала войны, а у нас всего-то паек: на четверых мама муку в платке приносит. А все равно и мы выкормим! Вон полетай-овсюг поспекает, его набрусним.

Вырастим и отправим голубя к тятю с письмом, он скорее почты долетит и воротится обратно. То-то тятя обрадуется! Узнает голубя с родины, не даст немцам его подстрелить.

А еще бы нашел голубок Федора, сына бабушки Соломеи... Может, и не убит он насовсем, а лежит где-то раненый и ждет голубя с живой водой? Читали мы в книжке, что живая вода хороших людей оживляет. А она есть у нас в Юровке! Мать Осягина — Мария Федоровна, когда на старшего сына Василия принесла похоронную, причитала и приговаривала:

Сокол ты мой ясный, сокол Васильюшко...
Прилети ты ко мне ночью ли темною,
Прилети ты ко мне утром ли с солнышком.
Уж умою я лицо твоё белое, умою живой водой,
Водой из родимого ключика...

Из Осягиного ключа и возьмем живой воды и пошлем ее с голубем для Федора. Оживет он, и тогда тятя с сыном бабушки Соломеи скорее побьют Гитлера, скорее домой придут, оба целые и невредимые. А голубей-то тогда сколько будет у нас!..

Нам с Кольшей казалось, что нет ночи на улке, нет над нами потолка и крыши, а лежим мы на сарае. глядим на чисто-синее небо, где высоко над Юровкой кружат и парят голуби бабушки Соломеи.

ГРУЗДЯНЫЕ ГРЯДКИ

Прокопия Степановича привезли домой со станции Далматово на исходе зимы сорок третьего года. Ездил за ним на конторском выездном жеребце по кличке Победитель его жена, мать моего дружка Витьки, Матрена Егоровна.

Председатель колхоза имени Калинина Михаил Петрович Поспелов, сам с оторванной на войне ногой, еле устоял, когда вытащил из конторы овчинный тулуп, который доверялся людям в особых случаях. Потирая острое лицо вязаной исподкой¹, он строго наказывал растерянно моргавшей иневистыми ресницами Матрене:

— Ты смотри, надежней укутай Прокопа, смотри, не обморозь его. Слаб он, бескровен, а таких нас скоро деревенит мороз. Слышь? Ну, счастливо вернуться! Да, Проне поклон от меня передай, ладно? И не заобнимай его на радостях, чуешь?

Матрена Егоровна приспустила ременные вожжи в побелевших на улице медных блестках, и Победитель, как пушинку, подхватил плетеную кошовку и сыпанул копытами сухие брызги снежных комочков. Взрослые и мы, ребята, молча ждали, когда они счернеют на угоре и скроются за гривой леса Монастырщины.

— Чего, Михаил Петрович, не подсказал Матрене, чтобы она за жеребцом следила, — высморкался в сугроб

¹ Исподка — варежка.

у конторы хромой конюх Максим Федорович, по прозвищу Собачонок. — А то мужика сбережет, а Победителя запалит. Возьмет, глядишь, сдуру напоит в Далматово. Не ближня дорога-то, евои какой волок.

— Помолчал бы ты, Максим, — хмуро выдохнул председатель табачный дым и даже не посмотрел на конюха. — Матрена не меньше тебя езживала на конях, знает, что к чему. А что прежде солдата сберечь, человека — понимать надо...

Мы с Витькой до потемок катались в логу Шумихи на самодельных, кое-как загнутых и оструганных лыжах из осинового досок. Скатывались и забирались на горку, а сами все время вострили глаза туда, откуда должна появиться подвода с его отцом.

В той стороне остыло низкое солнце, и дымная изволока затянула край неба, стало холоднее, и захотелось есть, но мы ждали, что вот-вот сизой птицей вылетит на угор Победитель и принесет не письмо, как голубь-почтовик, а Витькиного тятю. В Юровке прибудет еще на одного мужика, пускай израненного — кто же здоровых с фронта отпустит.

Постукивая зубами, глядели мы с горки за деревню на пустую дорогу, уже неразличимую среди снегов. Неужели неправда, что Прокопий Степанович прибыл в Далматово, и зря позвонили в контору из города? Только кто же в такое время станет людей разыгрывать?

— Может, со сбруей что-то случилось или в Пески по пути обогреться завернули? — догадался Витька и добавил: — Айда, Васька, по домам. А то мать заругает тебя, до школы пимы не просохнут. Не дожидаться теперь, темно стало, все равно ничего не видно.

Мы подхватили лыжи под мышки и побежали в деревню. Я у пожарки свернул в свой заулок, а Витька потопал дальше улцей. Изба у них стояла на краю Юровки.

Ни мы и никто другой в деревне так и не повстречали Прокопия в тот день. Они с Матреной приехали в полночь, и Витька не слышал на полатах, как мать завела в избу его тятю, как потом отвела на конюшню Победителя, как долго-долго не спали мать с отцом у стола в горнице.

Дядя Прокоп до самого тепла не показывался на улице. Раз-другой, а к Витьке мы заходили редко и чаще всего стояли у порога, я видел его через раскрытую дверь горницы. Худой и белый лежал он на деревянной кровати, и когда выпрастывал руку из-под лоскутного одеяла, она

была белая и костистая, с синими извилинами жил. Кажется, под кожей растеклись и остановились весенние ручейки.

Я не расспрашивал дружка о здоровье отца. Чего тут языком болтать! Если бы мог он, так разве лежал дома... Давно бы дядя Прокоп выправлял к весне телеги, чинил сбрую, вил из конопляной кудели веревки. Да мало ли бы дел нашлось для него в бригаде, в мастерской по дереву...

Помалкивал и Витька, и я понимал дружка. У нас тоже тятю отпускали по рапению, тоже еле-еле поправился и опять уехал на фронт.

Как-то незаметно привыкли мы с ребятами, что у Витьки дома отец, но по-прежнему звали его не иначе как Витька Матренин, и он никогда не поправлял нас и не обижался. Называли же меня Васька Варварин, другого дружка — Ванька Устиныч, как и всех остальных, по именам матерей. Даже учителя в школе вызывали к доске нас не по фамилиям — сплошь были Юровских, Мальгины, Пospelовы да Грачсвы, — а по именам матерей наших. Они, матери, и краснели за наше озорство.

...Летом, когда после дождей-парунов появились по лесам синявки и обабки, как-то утром вывела Матрена своего хозяина. Левой рукой он держался за ее плечо, а правой опирался на березовую клюшку. Витькина мать усадила дядю Прокопа на лавочку у ворот, чего-то сказала ему и бегом направилась к ферме. Мы сидели за прудом наискосок Витькиного дома, где играли в прятки по кустам и сшибали шишки с двух сосен. Залезть на них не мог даже липучий Осяга — гладкие стояли они до самой вершины.

— Гляди-ко, ребята, дяде Прокопу полегче стало, — сказал Санко Марфин и показал рукой за пруд.

Витька смолчал, но разве мы не понимали, как он в душе радуется, что тятя его поднялся с постели и сидит на лавочке, как сживал до войны, когда приходил под вечер с работы и приносил из мастерской сыну маленькие грабелки или литовочку, плуг или борону из дерева. А с поля кто как, а Прокопий всегда привозил ягоды или стручки гороха. И особо любил он ломать грузди.

В деревне быстро узнали, что Прокопий Степанович выходит на улку и дело пошло, стало быть, на поправку. Иные бабы начали уж и вслух завидовать Матрене:

— Счастливая ты, Мотя. Выходила Прокопа и теперь

с мужиком. А нам-то где своих дожждаться с того света, бумажки и осталось горючими слезами уливать.

И только все сходились на одном, когда смотрели издали или вблизи на Прокопия: «Тоскует мужик по лесу, по груздям... До чего мастер он их искать — задивуешься! Все пробегут грядой Дубровой, ощупают до листика под березами, а Прокоп следом — груздок за груздком выковыривает. Знать, заговор какой-то имеет, грузди сами из земли к нему лезут. Груздяник первый, чего тут скажешь боле!..»

С груздями каждый раз возвращались мы в деревню мимо Витькиного дома, и дядя Прокоп ласково окликал нас с лавочки:

— Ну, как там, добры молодцы, груздочки? Сухих или сырых наломали?

И подолгу советовал, куда лучше завтра идти, где и какие грузди здорово растут-напревают, как ломать их, чтобы не перевелись они по лесам:

— Грибы — они не уважают, кто роется в лесу, как свинья пятаком своим все искапывает. Они — существо тонкое, глазу не видно, как размножаются. Сломал груздок, осторожно прикрой корешок. После столь нарастет — всем таскать не перетаскать.

Запали нам в душу слова: тоскует Прокоп по груздям... Сводить его с собой? Да если мог, так разве усидел бы он на лавочке?! Он бы и в колхозе работал, и по грузди успел бы...

Идем ли дорогой полевой в дальние Отищевские березняки, бродим ли бельниками у Королят, а нет-нет да вспомним Витькиного отца. И если у Витьки меньше нашего груздей в ведре — незаметно подкладываем из своих. Не в отца он, попадаются ему все больше старые шляпы — червивые или иструхшие. Но и понимали, не маленькие: дяде Прокопу готовые грузди не в радость. Это кажется только, что хорошо бы они сами запрыгивали в ведро. Ну, напрыгали бы, а какое веселье, если не ты пашел, не полюбовался вначале, а потом аккуратно сломил?

Запенастило как-то, обложило дождем-мелкосеем со всех сторон, и пережидали мы непогоду под соломенной крышей овчарника за Витькиным прудом. Сухо и тепло нам на соломе, под самой крышей веники прошлогодние висят, и ветер не достигает нас.

Безделье хуже всякой работы показалось нам. Даже

поливать грядки и окучивать картошку лучше, чем смотреть на близкое мутное небо и слушать, как сыплется и сыплется частый дождик.

— Роя, — покусывая соломинку, начал первым Осяга. — Дождь-то все равно пройдет, не век же ему полоскать. Я вот что думаю: как просохнет, давайте берегом пруда изладим груздяные грядки. Навозим земли из Дубравы на тележках и в грядки ее. Грузди напреют, и дядя Прокоп начнет за ними ходить.

— А верно Осяга придумал! — ожил Ванька Устиньин. — Долго ли оравой натаскать груздяной земли.

Осягина задумка приглянулась всем, и никто не приметил, как стемнело под крышей и «отбил часы» по подвешенному на углу лемеху фермский сторож, ревматизмный Василий Южаков. На уме у нас были только груздяные грядки возле пруда для Прокопия Степановича. А расходясь домой, Витьке строго наказали: пока грузди не появятся — тятя своему ни словечка. Вдруг ничего не получится, и осрамимся перед ним.

«Хоть бы ненастье кончилось, хоть бы кончилось...» — изнывал я ночью. И пока не свалил сон, прислушивался: не бренчит ли дождь по стеклам, не каплет ли с крыши в деревянное корыто?

А утром первым делом подскочил к окну и с радости чуть не выдавил головой стекло — на улице было светло, резко голубело небо и в каждой лывине плавилось яркое солнце. На заплоте гоглился и голосил петух, куры мелкими глоточками отпивали дождевую воду из корыта, и даже воробьи лезли покурхаться в лывине, будто не стояло нудное ненастье, а прогрохотала короткая гроза.

С ведрами и тележками двинулись мы Морозовской дорогой в Дубраву. Мама еще раньше ушла на детдомовский огород, а сестре Нюрке я не стал объяснять, лишь махнул ведром и покатыл тележку по заулку к пожарке.

Собрались у пруда на диво дружно, даже Ванька Устиньин — засоня из засонь — и тот явился без опоздания. И когда пять тележек проторили сырой дорогой прямую колею, я заметил, как переменялся в лице Витька: волновался он, и слезы от благодарности к нам накатывались на узкие глаза.

«Ничего, Витя, вырастут на грядках грузди. Растут же огурцы, морковь и бобы, — думалось мне. — Дождей не будет — польем из пруда. Пруд пересохнет — из Крутишки



речной воды наносим. Ключ под ветлой со срубом не испарится никогда. Вырастут грузди — взвеселим сердце дяди Прокопа...»

Что-то, а возить на тележках — дело привычное для нас, пусть земля и тяжелее чащи или сухостойника. А когда артелью, то и пауты не так больно кусаются, и солнце не очень-то жарит затылок, и о еде не думается. А летнему дню конца и края не видно. Неловко только,

когда понадаются навстречу взрослые и допытываются, зачем из леса землю возем.

— В школе велели,— буркнул Осяга на расспросы сроду подозрительного конюха Максима Федоровича.

— В шко-о-ле? — недоверчиво растянул он. — А почто моя Манька не сказала, из озера не вылазит, поди, грязи напарила в голове от перекупанья.

Если бы нужна была просто земля, то навозили бы скоро. Но мы аккуратно снимали грибной слой и складывали отдельно от земли — черной, вязкой и тяжелой. Ее ссыпали вниз, а уж после покрывали бурой, с перепревшими листьями. В ней таились невидимые семена груздей.

Витька ли обмолвился или сам Прокопий Степанович углядел, но на третий день он неслышно приковывал к нам на пруд под старые редкие березы, и мы услышали:

— Гляжу и гадаю: чем это добрые молодцы занялись? А они, смотри, земляные гряды делают.

— Не земляные, а груздяные, дядя Прокоп, — признался Осяга и покраснел, и лишь брови и волосы заблещили сильнее прежнего.

— Груздяные?! — удивился Прокопий Степанович. — А не проще ли грузди таскать? Или в лес неохота ходить, под боком хотите их ломать?

Витька подбежал к отцу и о чем-то зашептал ему на ухо. Видимо, признался, для кого грядки и грузди. Дядя Прокоп кивал головой, но было все-таки непонятно, доволен он нами или не одобряет.

— Так-так, ясно, ребятки! Однако скажу вам, вы уж, ради бога, не обижайтесь, не с того начали. Допустим, грибной земли вы навозили и грибницу не нарушили. А вырастут ли грузди? Может, чего им неостанет здесь?

Мы растерялись: наверное, действительно что-то мы не додумали, чего-то не так делаем. Дядя Прокоп лучше нашего знает, как грузди растут, на войнах побывал...

— Ну, вы не расстраивайтесь и духом не падайте. Нужно было, сынки... — голос у дяди Прокопа почему-то дрогнул. — Нужно с деревьев начинать, березы и осины сажать. Тогда, я вам скажу, точно вырастут любые грузди. Точно!

Прокопий Степанович поморщился, должно быть, раны разбередил, и медленно осел на почерневший пенек спиленной березы. Он свернул сигарку, ловко высек кресалом искровые брызги на трутовник и затянулся табаком.



— Правее нашей избы, ребята, — ткнул дядя Прокоп клюшкой за пруд, — жил Иван Григорьевич Поспелов, или Ваня Семиных, как помнят его старые люди в Юровке. Не такой, как все, он был. Во-первых, обожал лошадей, да не рабочих, а рысаков. От кавалерии, службы солдатской, осталось в нем. Запомнил я жеребца, Соловко звали, как ветер был, не конь, а огонь! Эх, да как скакал на Соловке Иван, как скакал! — заблестел глазами дядя Прокоп. —

Никто и не тягался с ним на скачках, где уж Соловка обогнать! Да и умен, умен был жеребец! Иной человек меньше соображает... Хотя совсем не о том я вам расскажу. И пруд, и ключ, и сад вот весь этот — все от Ивана Григорьевича осталось. Только худые люди перевели его, сад-то. Берегом целая березовая роща стояла, тут и рябина, и черемуха, и калина, и смородина. Сосны тоже он вырастил, а в пруду развел рыбу. Не караси, а лапти ловились. Ну, а главное-то — грузди здесь росли, что те по добрым лесам. Приснет дождик — Иван Григорьевич с корзиной за пруд. Смотришь, синявок несет или обабков. А опосля грузди — ступить некуда. Соседи смущались в сад заходить, хоть Иван Григорьевич приглашал. Тогда он что надумал: груздями одарял нас, а бабушку Федосью за руку насильно заводил. Состарела она, под девяносто подкатило ей, а по грузди любительница была ходить. Только куда ей в лес? Вот и меня дядя Ваня приучил к груздям. Своих-то детишек он не имел, меня вместо сына привечал.

— А когда он умер-то? — вырвалось у Ваньки Устиньиного, стоило только Прокопию Степановичу замолчать.

— А? — поднял голову и очнулся от чего-то своего, нам неизвестного. — Не помер Иван-то Григорьевич. Белочехи его зарубили пашками.

Дядя Прокоп уперся на клюшку, поднялся на ноги и улыбнулся нам:

— Ладно, сынки, подамся домой. А вы запомните мой-то совет. И будут, будут расти грузди у вас.

Сколько не мочило потом, а на грядках не появились грузди. Зато осенью мы натаскали березок, осинок и смородин. Засаживали весь берег пруда и снова поверили, если поднимется лес, станут расти и грузди. Лишь бы поправился здоровьем Витькин тятя. А грибная земля тоже не пропадет даром: в ней есть незримые семена груздей, и они сразу оживут вместе с лесом.

...Слякоть и холода опять свалили дядю Прокопа. И когда Витька не пришел в школу, мы сбежали с уроков к нему домой.

В напущенной избе тесно от народа. Из горницы причитали проголосно бабы, а у стола на лавке сидел без шапки председатель колхоза и свертывал цигарку за цигаркой. Взрослым было не до нас, и Витька на печи за трубой не видел и не слышал нас. И мы тоже оглохли, сели

на нижний голбец и, не стыдясь друг друга, заревели. Давились, всхлипывали и, стуча зубами, шептали:

— Дядя Прокоп, дядя Прокоп, чо ты не дождался груздей, чо не дождался...

СИНИЕ ПТАШКИ-ПИКУШКИ

Суслик дернулся-вздрыгнул и покорно затих у меня в руках. Он не бился и не царапался, а скопил на нас темно-синий глаз с нависшей слезинкой и ждал решения своей судьбы.

— Да живой ли он, папа? — заволновался сын и осекся...

Песочная шерстка трепетала-мурашилась, словно вот-вот из груди зверька вырвется маленькое горячее сердце.

— Папа, суслик-то обмочился! — снова ахнул Вовка.

— Сколько он страху натерпелся, — усмехнулся я и ослабил пальцы.

— Ну что с ним делать, сынок?

— Как чего? Отпустим! — удивился Вовка.

— А ведь он вредитель.

— Ну и что. Чему здесь суслику вредить? Сам видишь, земля одна да сеянцы акации на питомнике.

— Будь по-твоему, помилуем! — и я разжал пальцы.

Суслик рванул полем, высоко подкидывая круглый зад и смешную кисточку хвостика, непросохшего после струйки.

Что же, пускай живет... И не заступись за него сын, все равно отпустил бы его. Понимаю, вредитель он, а душа протестует. Нынче совсем редко услышишь птичий пересвист сусликов даже на покотинах. С полей и распаханых степей сжили их грозные пахари-тракторы, того и гляди, останутся скоро по музеям серые от пыли чучела зверьков. Ну а зерна осенью остается в полях немало, хоть и молотят хлеба чудо-комбайны.

...Грызуны — вредители. И в школе и дома внушали нам когда-то, если разговор касался сусликов, и хвалили тех, кто больше всех наловит простодушных зверьков.

И мы начинали с забавы, а в войну перешли на промысел. Лишь «съедали» ветра и дожди жидкий снег на степи у деревни, а мы уже бродили ватагами и отыскивали жилые норы.

— Нашел, нашел! — завопит кто-нибудь из нас, подсакивая у норы не столь от радости, сколько для согрева босых ног.

И загремят ведра на бегу, и начинаем мы таскать воду из лыв и болотин.

Эх, если бы с такой охотой поливали мы огуречные гряды!

Чего бы проще выманить из норы сухолюб-а-суслика — только не ленись, таскай воду, не давай ему опомниться. Ан нет! Оплотай, не ухвати вовремя, когда он мокрый очумело полезет из мутно-холодной дыры, — «заткнет» суслик ее задом и скорее задохнется-захлебнется, чем покинет нору. Хоть лей воду, хоть палкой тычь — не сдвинешь его, как норовистого быка.

Среди ребят прослыл я удачливым ловцом, и они осво-бождали меня от воды после двух-трех ведер, сажали сторожить суслика. Иные боялись, другие оправдывались, что, мол, бородавки по телу пойдут. А я наострил-ся угадывать бульканье в норе и смело цапал сусликов даже за мордочки. Бывало, укусит зверек, но тогда еще сильнее азарта и злости прибавляется...

Впитывала земля снежницу, и наступал самый трудный промысел.

Уже не оравой, а втроем — старший брат, дружок Осяга и я — вели мы ловлю пшенично-степных грызунов. Свивали петли из конского волоса и настораживали мелкие капканы, оставленные нам отцом.

— Добры отцы сусеки и лари хлеба заработили своим семьям, а наш всего и благословил оружия и капканы, — иногда, отчаявшись, ворчала мама.

Мы, однако, про себя не соглашались с ней. Хлеб мы давно бы съели, а ружье и капканы кормят нас круглый год.

Нет, не совсем уж и худой наш тятя, пусть сроду не домил так, как хозяйственные мужики. Всех младших братьев поочередно таскал он с собой по лесам и болотам. С возрастом они отходили от охоты и остепенялись, а тятя из всей Микитиной породы остался бродягой-охотником. А мы-то с Кольшей в тятю по нужде.

...Заготовитель дедушка Яков Иванович отоваривал шкурки сусликов, хомяков и водных крыс отрубями и даже желто-серым сахаром.

Как-то прибежали к сельповскому амбару, где заготовитель принимал у нас пушнину, и остолбенели у рас-

пахнутой двери. Дедушка доставал из сундука глиняные пикушки и каждой насвистывал. Синие птички с красненькими пятнышками сбоку весело распевали из амбара, и нельзя было отнять глаз от голосистых игрушек.

Яков Иванович щурился из-под клочкастых сивых бровей, хитро подглядывал за нами, и густая борода шевелилась улыбкой. Казалось, он не просто проверяет товар, а испытывает-подзадоривает нас с каким-то умыслом.

— Нам бы, Кольша, — заикнулся я на ухо брату, и он согласно вздохнул.

— Чего же понатащили нынче, охотнички? Сколь хлебушка упасли от окаянных вредителей? — спохватился Яков Иванович и вынул из бороды последнюю синюю птичку.

К нашей пушнине дедушка не придирался. Он благоволил к тятю и частенько грустил, что война оторвала от дела самого заправского зверолова:

— Ить только горностая по две сотни за зиму сдавал Иван Васильевич. По две сотни! А шкурочки-то без единой помарочки, белее снега! Первым сортом на базе шли. Во как!

Мы снимали шкурки без порезов и рвани, обезжиривали начисто. И заготовитель похваливал нас, а на других ребят хмурился:

— Портят шкурки токо. Думают, война, так она все спишет.

Дедушка для чего-то помусолил палец, вроде бы собирался отсчитать нам бумажные деньги.

— Молодцы, робятушки, молодцы! А чем отоварить? Есть маленько крупки пшеничной. Поди, стосковались по хлебному? Ай и чего спрашивать-дразнить!

— Дедушка, а пикушки почему? — осмелел Кольша.

— Пикушки... — Яков Иванович о чем-то задумался, и мы снова оробели.

— На пикушки хватит, робята. Дак голоднешеньки же вы. А потом... Потом, чо мать-то, Варвара Филипповна, скажет? Вас и меня отругает. Старый хрен, соблазнил-омманул малолеток. Смотрите, вы добытки, ваша воля.

— Пикушки! — выдохнули мы с Кольшей, и у дедушки разошлась в улыбке борода.

Он с эханьем махнул рукой на сундук:

— Ладно, робята! Мне тоже тятя в голодный год вместо пряника пикушку в гостинцы привез из города с заработка. Быть может, не запомнил бы я пряник, а пи-

кушку до старости не забываю. Я ить чо их давеча перебирал? Вас растравливал, да? Не-е, детки, самого себя поминал и тятю-покойника. И не был я тогда пустобрюхим, а был самым богатым и сытым. Эдак-то оно, робята...

С пикушками, синими пташками, торопились мы домой от сельповского амбара. Свистульки из тальника, когда соковели лозины под гладкой корой, все ребята ладили хорошо; а Ванька Пестов соловьем-разбойником наяривал на берестинке. А таких, как эти, нет ни у кого в Юровке, и не на что их купить. А у нас есть они, распевучие пташки. Стоит дунуть легко в хвостик, и оживет птаха.

Мама услышала, как мы затворили за собой избяную дверь, и выглянула из-за печи.

— Чего вам навешал сѣдни Яков Иванович?

Переминаясь с ноги на ногу у порога, мы оба молчали с Кольшей.

— Чо не сказываєте? Я кого спрашиваю?

— Да вот чо... — промямлил Кольша и разжал кулак. На ладошке засинела потная пташка.

И у меня забила в руке, как живая, точно такая же синяя птаха. А если дать деру к бабушке или в коноплице на меже? Отойдет мама, и тогда... а то вон как стемнела лицом и крепко сдавила ухват.

Ладонь у Кольши ходила ходуном, и птаха, казалось, сейчас спорхнет с нее, но не взлетит, а стукнется о половицы.

Мама уронила ухват и отвернулась от нас, а когда поднимала его с пола, почему-то вздрогнули у нее губы и — то ли дым пахнул из печи — завывирала глаза запотом.

Мы шмыгнули на полати и зарылись в старую лопотину.

В потемках завернула к нам соседка Антонида Микулаюшкиных. Посудили они с мамой громко об отцах, о войне, о работе и зачем-то перешли на шепот.

— До чего, Тоша, война нас, матерей, довела, — услышали мы мамин голос. — Совсем в робятах дитенков перестали различать. Давеча чуть не излупила я своих. А за что? Взяли на пкурки у заготовителя по пикушке. Только хотела ухватом хлестнуть, а с глаз-то вроде что-то и спало. Прозрела я, смотрю на них, а ить дитенки оне, совсем дитенки. Одежонка — заплатка на заплате, руки и ноги в цыпушках. Зверьков-то ить не просто наловить. Господи, думаю, да за что, за что я их бить собралась?! Сено сами



косят и на корове возят, до полночи маются в лесу одни, ежели воз развалится. Дрова пилят и себе и чеботарю Василию Кудряшу за обутки. И ягодники, и грузденики они у меня. Ведрами таскают звон с какой дали! В нужде и горе забываешь и с них, как с ровни, спрашиваешь. А тут глянула, и сердце кровью облилось. Ребятенки, детки еще оне. Ни еды-то не видывали, ни игрушек. Эдак и детства не узнают, останется в памяти работа, голод и нужда.

...Нам было душно и жарко под окуткой, кашель давил дыхание, но мы боялись шевельнуться. Скрипнет полатница, и оборвется мамин шепот.

Ночью сбили мы с себя лопотину и, ненадолго просыпаясь, прижимали к себе синие пташки-пикушки.

КЕДР

Дедушка Егор застал нас с Вовкой Мышонком врасплох. Мы с дружкой жадно дорвались до кисло-твердой мелочи крыжовника: нещадно укалывая руки, выискивали пупырьчики с белесым пушком в колючей зелени и забыли про осторожность. Вот и не слышали, когда он отпер воротца в сад и доковылял до кустов с костылем на скрипучей деревяшке вместо левой ноги. Свою ногу Егор Иванович Пospelов, как мне сказывала бабушка, оставил на японской войне.

— Кхе, кхе,— закашлял кто-то над нами.

Нас передернул испуг, и крыжовник впился иголками в наши руки. Вскинули мы с Вовкой головы и поняли: нет, не удрать от деда Егора, пусть он и на деревяшке с костылем.

Егор Иванович спокойно смотрел на нас сверху, а мы на него снизу. Я как бы околел на корточках, а Вовка мигом опомнился и сунулся было в куст. Рыжеватый, с маленькими глазками на скуластом лице, он не зря получил прозвище Мышонок. И спрятаться Вовка пытался столь же проворно, как юркая мышь. Да как схоронишься в крыжовнике, ежели руки и те в крови? Ну и дедушка костылем где хочешь достанет...

Вовка наткнулся лицом на колючки, и у него без всхлипа-рева потекли слезы. Еще бы! И перед дедом страшно и больно...

— Стало быть, ягодки кушаем? — доставая из брючного кармана кисет, спросил дедушка Егор. — Крыжовник что, его с ветками не наломаешь, не черемуха, он постояит за себя, покусается. И что вам нападать на него теперь? Ни скуса, ни сытости, кислотье зеленое! А как наскеют ягоды и станут сладкие, во тогда, робятки, милости просим!

Помолчал Егор Иванович, посмотрел на свой домик за прудом, на баню у воды. Все-то у него обсажено черемухой, ветлами и тополями, а в палисаднике из цветков мальвы березки тянутся.

— Сад все одно общественный, всем краем садили. Малину робята по пути из Далматова навозили, в Серебряковой роще под Песками она растет. Всех, сердешных, на войну проводили...

Дедушка вздохнул и ловко, наугад, завернул козью ножку из полоски газеты, сыпнул в нее щепотку самосада и стал кресалом высекать искру из кремня черной гальки на проваренную вату. Вот он густо пыхнул дымом и медленно опустил рядом с нами.

— Чего вы, как зверьки, ужались? — спохватился Егор Иванович. — По-людски садитесь-ко подле меня.

Молчком пододвинулись мы с Вовкой к нему и тоже усталились на прудок. Вода чистая, без ряски, не как в прудах на Одине. Сюда по логу Шумихи течет ручей, а собирается он из ключей, и где выбиваются они из глубины, там земля зыбкая и студеная даже в летнюю жару.

— Сад, сад,— снова заговорил дедушка. — Какие тут фрукты-ягоды! Черемуха родится и крыжовник, а смородинник застарел, малинник переродился, и трава его задавила. Огораживаю-то я сад вовсе не от людей, а от скота. Животина завсегда лезет к деревьям. Кажись, какой бы вред от овечек? Не огложут они тополя, однако посыхают тополины с овечьего помета. Робята,— повернулся к нам Егор Иванович. — А что я сад берегу? Трудодни мне колхоз не отмечает за него, их я зарабливаю за починку сбури, ну и грабли да вилы к сенокосу лажу. Не знаете? Из-за кедра я сад оберегаю.

— Какого кедра?! — осмелели мы с дружкой.

— Покажу, покажу!

Дедушка потушил окурок о деревяшку и, ухватившись обеими руками за костыль, трудно поднялся на ноги. И мы следом за ним пошли в тополя.

— Эвот, мой воспитанник! — похлопал дед твердой бугристой ладонью темно-коричневый ствол незнакомого нам дерева.

Раньше мы замечали его, особенно зимой. В школу мимо Егорова сада я три зимы протопал. Только поближе разглядеть хвойное дерево было некогда: и на уроки бы не опоздать, и на бегу греешь ноги в старых ботинках. Видно, что не сосна и не елка. Сосны растут на другом краю Юровки у фермы и в огороде Степана, по прозвищу Рева, а елки на Одине возле дома Настасьи Семифонихиной.

— А как он посажен? — дотронулся Вовка до кедра.

— Как? Семилеткой кедренка привез я из Красноярска. Раны там заживляли мне, япошки-то не токо ноги меня лишили. Подпортили кожу и в иных местах. С та-мошним солдатом вместе лежали, он и дал мне на память кедр. Говорил, долго кедр живет, и ежели приживется, то и я буду жить, и дети мои, и деревня наша не переведется. Так я и заветил кедр не только на себя и сыновей Мишу с Иваном, а на всю Юровку. Зарастет-приживется он — значит, деревне родной века вековать. А ерманца победим, покуда сынки живы на фронте. Михаил-то вон капитан, а Ваня на море сражается. И деревня тоже жива.

Дедушка долго гладил шершавую кору своего кедра и рассказывал, почему он зовется чудо-дерево. Смола его раны и ожоги затягивает, иголками ревматизм лечат, а орехи и подавно лекарственные.

— Вот и вы, робятки, сберегите кедр. Сам я не могу, а вы осенью залазьте на него. Должны быть шишки. Орешки в них сладкие, не чета крыжовнику. Ладно?

Мы с Вовкой никому не проболтались про кедр, чтоб ненароком не обломали его наши деревенские ребята. Детдомовцы, те не признавали юровских садов. «Ха, нашли сады! — издевались они над нами. — С каких пор ваши тополя и ветлы фрукты стали родить? Может быть, на них калачи вырастают?!» — «А черемуха?» — не сдавались мы. «А пошли вы с ней!» — отмахивались детдомовцы, однажды с голодухи испытав вязкое свойство черемуховых ягод. Только в мае, когда она белела живыми сугробами, приезжие ребята с тоской смотрели на нее, поди, вспоминили неведомые для нас яблоневые сады.

...Снег в тот год не выпадал долго на застывшую землю, и нам нечего было делать после уроков. Мы случайно вспомнили про кедр у Вовки дома, а жил дружок недалеко от сада. Эх, прозевали шишки! Кинулись в сад, перемахнули прясло — и к кедру. Холодно, но не лезть же в ботинках! Разулись с Вовкой и, сперва я, а потом и он, забрались до вершины. Сучья у кедра крепкие, не сравнишь с сосновыми, да вот где шишки? Начали обыскивать хвою, и вдруг Вовка аж взвыл от радости:

— Васька, нашел, нашел!

— Шишки? Неужто есть!

Вовка не ошибся: он и верно отыскал три здоровенных шишки. А больше, сколько мы ни искали, шишек не оказалось.

Спустились на землю, обулись и, сговариваться нече-

го, побежали к дедушке Егору. Он сидел в натопленной малухе-избенке и чинил колхозную сбрую.

— Что случилось? — встревожился Егор Иванович.

— Шишки, дедушка, шишки нашли!

— Шишки? — заволновался дед, хотел вскочить с лавки, но деревяшка была отстегнута и валялась на полу.

Больше нашего радовался Егор Иванович шишкам своего кедра.

— Всем по штуке! — молвил он и все повторял: — Спасибо, спасибо, робятки! Не думал я дожить до шишек, а вот дождался...

Дома я положил шишку в печь, как советовал дед, она подсохла и ощерилась чешуйками. Из-под каждой выглянули бурые орешки. Их мы поровну поделили между собой. Мама ахала и дивилась:

— На-ко, у нас в Юровке орехи растут! Ране-то на базаре и покупали их к праздникам, из Сибири их возили к нам.

А мы с Вовкой загадали: на будущую осень родится много шишек, можно будет сказать ребятам и угостить всех кедровыми орехами.

...Когда в колхозах начали молотить рожь, в Юровке впервые за войну появились грузовые машины.

Одну из них мы заметили на мосту через ручей возле сада. Почему она шла с Одины — непонятно. И нам еще издали стало не по себе. Неспроста она там остановилась.

— Васька! А если машина застряла на мостике, он же худой, по нему и на конях-то никто не ездит, — догадался дружок, и мы побежали под горку к саду.

В саду мы увидели мужика, он со всего плеча рубил топором не тополину, а ...кедр. И не успели мы рта открыть, как кедр зашумел вершиной и грохнулся на прясло.

Нет, нам не верилось, что среди белого дня кто-то может срубить кедр дедушки Егора, один кедр на всю Юровку!

Мы с дружкой остолбенело глядели, как мужик быстро отрубил от кедра два коротыша и поволок их к машине на мостке. И был это не какой-то приезжий из города, а зять Никанора Глызенка. Только жил он теперь не в Юровке, а в райцентре. Заехал он на Одину к тестю, видно, со стороны соседней деревни Макарьевки, напировался, поди, досыта — вишь, шатается, еле на ногах стоит, вот и понесло его на худой мостик...

...Эх, скорей к дедушке Егору!..

Дед лежал хворый на лавке под полатями, но враз



понял нас и сдернул со стены берданку-крымку, как он ее называл. Втроем и выскочили мы из ограды и заторопились к мостику. Да где там успеть... Машина взревела мотором и сорвалась с мостика на берег, а там и на дорогу.

— Паскуда... — прошептал дедушка, выронил берданку и с подломленным костылем упал на землю.

И нам с Вовкой впервые за всю войну стало страшно за дедушку, за наших отцов на фронте и за всю Юровку.

Третий день морочит над желтыми лесами с той стороны, где идет война, и Нюрка с Кольшей торопятся сегодня посуху докопать бабушкину картошку. А мы с ней топим баню, что притулилась к пряслу огорода Ивана Яковлевича Юровских.

Сперва натаскали воды из колодца: бабушка на коромысле, а я двумя ведерками. Когда банная посуда — три кадки и бадья для щелока — запрястана, начинаем носить дрова.

— Васько, ототкни-ко дымоход! — наказывает бабушка и затапливает каменку.

Я лезу на полók и вытаскиваю прокопченную тряпичную затычку в стене над каменкой, куда вытягивает дым из бани.

Сейчас остается следить за жаром и вовремя греть воду раскаленными круглыми гириями. Их бабушка выхватывает из подтопка клюкой и кидает в кадки, оттуда гулко ударяет густой белый пар. Тут только успевай убираться за порог, иначе можно ошпарить лицо.

— Слышь, Лукия Григорьевна! — окликает бабушку из своего огорода сосед Иван Яковлевич. — Обожди, чо я те скажу: опять седни похоронка в сельсовет пришла.

— На кого?! — меняется лицом бабушка и роняет на траву ковшик, которым она вылавливает угли из бадьи со щелоком.

— Не пужайся, соседка, не на твоих сыновей и не на наших деревенских.

— А на кого боле-то?

— Председатель Александр Федорович сказал давеча — Юра Артист погиб. Помнишь, с кином ездил к нам года два?

Дедушка Иван подходит бороздой к бане и тяжело опирается грудью на прясло. Ему не на кого больше ждать похоронные: младший сын, пограничник Дмитрий, погиб в самом начале войны, а старший, тракторист Степан, убит прошлый год под Ленинградом.

— Уж и как не помнить! С Ваньшой моим дружьями были, сколь разов ночевали у нас, сколь работы всякой переробил. Вон и баню с Ваньшой заново перекатали... Неужто взаправду убило его?

— На войне, Лукия, взаправду убивают. Токо в кине понарошке-то...

— Пошто похоронку к нам прислали? Поди, Лизке Миколаюшкиных, с ней ить Юра похаживал, любили они друг дружку.

— В том и дело, что на сельсовет. Юра-то сиротой рос, никого у него из родни не осталось. А Юровка ему родной стала, вот он и оставил адрес на нас. Вишь как, горе нонче выходит у всех общее.

Бабушка прислонилась спиной к бане и закрыла лицо запонком, а дед Иван глядел себе под ноги и зачем-то отковыривал ногтем большого пальца присохшую полоску коры на березовой жердине. Я сунулся в баню, сел на пол напротив каменки и вовсе не от дыма тер кулаками мокрые глаза.

Дядя Юра... Неужели и он, как и наш дядя Андрей, никогда больше не будет живым, не привезет к нам кино, не придет ночевать к бабушке и не попарится в бане мягким венником... Кого-кого, а дядю Юру помнят и уважают в Юровке стар и млад. Вон бабушка поплакала и с дедом Иваном вспоминает его добром, как родного...

— Что и баять, Лукия, не мало памяти оставил Юра. Вот прясло у меня с твоего заулка повалилось, так он, слова не говоря, взял да и поставил перетыки. У Офимьи как-то квартировал — крышу дома перекрыл, куме Прасковье сено вывез. Солдатке Настюхе печь склад — век простоит и не задымит. У кого он токо ремеслу научился! Ить молодец, а на все был мастак.

— А кино, кино-то как показывал! Зря ли его артистом и называли, — вздохнула бабушка. — А уж веселый да обходительный какой был! Худого слова девки не слыхивали от него, а парни при нем меж собой не дрались. Эвон сколько ломов извели на ети... как их называли-то?

— Турники?

— Турники, турники.

— А в клубе хоть бы раз кто при нем ругнулся. На что уж поганый язык у хромого Ивана Павловича, однако боялся рот раскрыть при киномеханике, — продолжал дед Иван. — Даже макарёвцы и те не хулиганили.

Я подкинул поленья в каменку, сложенную когда-то дядей Юрой, и тоже вспомнил о нем.

Раньше, до него, возил немое кино хмурый сухощавый парень, и не только ребятишки, а и многие взрослые смотрели лишь картинки на белом полотне экрана. Грамотные, даже учителя семилетней школы, и то не всегда успевали прочитать, о чем говорят в кинокартине. В зале слышались



крики и шепотки, а после кино все долго еще расспрашивали друг друга — о чем все-таки было кино?

До Юры безбилетников, нашего брата, и близко не допускали до дверей клуба. Ежели кому удавалось незаметно нырнуть в зал, то завклубом, однорукий Михаил Грачев — руку ему отняли в больнице после несчастия на тракторе, — вылавливал «зайцев» из-под скамеек и зло выгонял на улицу. Однажды и я получил чугунный пинок

ниже поясицы, и у меня пропала всякая охота скрытно проникать в кино.

Весной того года, как началась война, вместо неразговорчивого киномеханика привез кино коренастый парень в кожаном шлеме летчика. Мы с ребятами отирались возле клуба и сразу отметили, как он здорово похож на летчика Валерия Чкалова. Может, родня или на самом деле летчик?

Вначале он не заметил нас: занес в клуб аппарат, динамо и железные банки с частями кино. И только потом весело махнул нам шлемом:

— Эй, хлопцы, айда сюда!

— На что? — отозвался за всех Витка Паршуков, сын командира-пограничника.

— Не на что, а зачем. Нечего лодырничать. Ать-два и развесить по селу оповещения о кино! Понятно? — скомандовал он, и кто побойчее, тем и достались листы бумаги с названием кино, числом и часами показа его в клубе.

Если мой крестный дядя Ваня успевал до кино вернуться с поля, он брал меня с собой и покупал билеты на двоих. Тогда, как и все юровчане, я и узнал, кто такой новый киномеханик, и почему его у нас окрестили артистом, и почему все стали наперебой зазывать к себе на квартиру.

Крутить динамо Юра набирал из взрослых парней команду в два раза больше, чем было частей у картины. И нас запускали в клуб тоже как «динамщиков», у каждого брал в залог фуражку. Парням он возвращал кепки-восьмиклинки после того, как кто-то из них прокрутит часть, а нам после кинокартины. Михаил Грачев косился на нас и по привычке норовил выпарить, но дядя Юра отрезал:

— Хлопцев не трогать! Они у меня помощники.

Артистом называли киномеханика неспроста. Юра знал наизусть, о чем писалось на кадрах, и громко, на весь зал, озвучивал немое кино. Да не просто читал, а говорил голосами героев кино. Отпала всякая нужда читать надписи, знай смотри да слушай дядю Юру! Окончится кино, и все на прощание сто спасибо скажут и в гости позовут.

— Ну и артист, ну и артист! Прямо-таки всяко играет голосом! И где нам нашли такого золотого парня! — слышно было на улице, когда расходились по домам из клуба.

Лишь однажды дядя Юра забылся, когда показывал

кино про Чапаева. В тот момент, когда он переплывал реку Урал и белоказаки стали строчить по нему из пулемета, Юра отступил от киноаппарата и закричал через зал Чапаеву на экране:

— Василий Иванович! Ныряй, ныряй скорее! Убьют ведь, гады, убьют!

И он, и все мы заплакали: так жаль, так жаль стало Чапаева, так обидно, что ничем не можем ему помочь...

Днями Юра успевал кому-нибудь запаять посуду или расколоть дрова. У бабушки вот баню с дядей Ваней перекатали. Любил он париться! Так поддаст воды на каменку — треск стоит, а он крикает да хлещется веником! Потом окатится холодной водой из таза и, горячий и красный, в одних подштанниках вылетает на заулоч, мчитесь к бабушке. А там на столе пофыркивает самовар. К чаю я приносил из погреба костянику в рассоле, бабушка заставляла стол шаньгами и пирогами.

Дядя Юра расчесывал коротко стриженные белые волосы гребешком, они садились с моим лёлком чаевничать. А после кино шли вместе холостовать. И где бы ни пели парни под гармонь, я издали узнавал голос Юры Артиста.

Оба поговаривали о службе в Красной Армии: дядя Ваня мечтал о флоте и давно носил поверх тельняшки белую морскую рубашу с большим отложным воротником, а Юра твердо решил попасть в авиацию.

Юра жил в районном селе Уксаянка, оттуда он ушел на фронт. Правда, раньше он проводил дядю Ваню и все твердил, что они встретятся с ним на войне и что после победы над Гитлером вернутся жить в Юровку. Никто, кроме дяди Вани, не знал, что киномеханик сирота и у него самая обычная фамилия — Морозов. И кто мог подумать, что похоронка на него придет в Юровку.

...Ночью морок накопился в длинный осенний дождь. И туда, навстречу ненастью, высоко по небу сердито гудели самолеты. Мне хотелось выбежать за ограду и закричать летчикам, чтобы они отомстили фашистам за Юру Артиста, теперь сына и брата всей нашей Юровки.

ВОЕНРУК

Самое непростительно-обидное для нас, что о приезде военрука в Юровку первым прознал Ванька Парасковий, еще и дня не учившийся в школе. Правда, подле нее под

окнами он постоянно отирался и зимой частенько ознабливал то уши, то конопатый нос, поджидая меня с уроков.

Если Ванька попадался на глаза техничке Ефросинье Поспеловой и она замечала деревянно-белые пятна на лице парнишки, тогда удавалось ему по ее милости проникнуть в полутемный коридор. Сперва кривая Фроська отшлепывала Ваньку тяжелой ладонью, а потом добрела и варежкой оттирала ознобленные места. Жалости у технички хватало ненадолго: перед звонком на перемену, отогревшийся у круглой печки в правом углу коридора, Ванька удирал домой с шишкой на лбу, головой распахивая настежь визгливую, отсыревшую изнутри дверь.

Ванька моложе меня на шесть лет и ростом, как и я, мал, а давно считается самым задушевным другом, готов ради меня на что угодно.

Нас Ванька разыскал в логу Шумихи, где мы четвертый день глумили самодельную шахту. Перепачканные вязко-бурой глиной и ржаво-синим илом, мы искали нефть и железную руду. Если верить книжкам и учителям, да и кому и чему еще нам верить, нефть и руда сами себя выказывают. Нефть — маслянисто-радужными пятнами-разводами по ручью в Шумихе, руда — рыжей ржавчиной у истока ключевой жилы. С чего же и быть ручью сплошь в жирных пятнышках и ржавчине, оседавшей на осоке и на песчаном дне ручья?

Сперва мы истыкали дно ручья железянками, железными штыковыми лопатами, у бревенчатого мостика в деревне, а после поднялись по течению к истоку и, чуть не увязнув в илистом зыбуне, облюбовали место посуше под желтым яром. На первых порах суетились и мешали друг другу, задевая черенками лопат. А как сорвали охотку — стали поочередно спускаться в широко разрытую яму. Один кто-то там, остальные наверху откидывают грунт подальше от шахты.

Чтобы дома не бранились матери, мы артелью пропололи огороды у каждого и дружно окучили картошку, артельно поливали утрами и вечерами огуречные гряды. Матери были довольны не только нашей помощью. Соседка Антониды Микулаюшкиных говорила маме про работу в логу:

— Пуцай они, Варвара, базгаются в Шумихе. Глядишь, на дикое хоть их не потянет. А то вон вчера Вовка Мышонок и Мишка Селиных попались в огуречнике

у продавца Анны Поповой. Стыдобушка матерям-то, в лавку глаза не кажи.

Работали мы азартно. И все-таки на третий день Ванька Антонидин, по прозвищу Фып — отца своего Филиппа он долго этак называл, — струсил. Скусывая кожу с раздавленных мозолей, Фып заныл:

— Никакого здесь карасина и железа нет! Айдайте лучше искупаемся и гольянов манишкой половим.

— Опять ты, Ванька, скуксился! — разозлился Вовка Барыкин и нечаянно угодил ему в спину липким илом.

— Ты чо, ты чо кидаешься? — взвыл Фып. — Не тебе, а мне попадает от мамы за рубаху.

— Чего ты, Ваньша, разоряешься? — вмешался Осяга. — А ты подумал, что скажут люди, если мы докопаемся до нефти или железа? Да нас до самой Москвы похвалят! Война-то ведь не кончилась...

Слово «война» подействовало на Ваньку пуще всего: он снова взялся за лопату, сменив в шахте Вовку, и больше не заикался о купании и о гольянах. Все же смекнул, что нефть и железо, найденные нами в Шумихе, помогут Красной Армии скорее добить Гитлера, а после победы Юровка узнают по всей стране. До нее из Далматова проведут железную дорогу, и станет Юровка городом, и тогда отметят ее на карте, и во всех школах на уроках географии ребята будут изучать о полезных ископаемых возле бывшей деревни.

И как раз когда объявился в логу Ванька Парасковьян, мы докопались до орешника и отрядили Вовку Барыкина за ломом. Иначе делу конец: свинцовый слой глины — орешник — почти не давался лопатам. Сколько ни бей штыком, а только и наколупаешь с горстку коричневых «орешков» не крупнее овечьего помета.

— Тебе-то чо тут надо? — возрился на своего сродного брата Ванька Антонидин.

Тот будто и не слышал его вопроса. Оглянулся на кусты краснотала и подмигнул нам:

— Робя, а я чо-то знаю!

— Чего? — спросил Осяга, поглядывая в сторону угора, куда клонил вечер солнце за невидимые из Шумихи березовые дубравы.

— Военрука нового к нам привезли, во! — закричал Ванька Парасковьян.

— Во-ен-ру-ка... Нового?! — хором переспросили мы. — А не врешь?

— Вашим заулком, Васька, провез его на телеге Пашка сливковоз. К Офимье Бателенковых жить его устроили!

— А с погонами? — перебил я дружка. — С орденами?

— Не-е, без погон. А на гимнастерке что-то краснело.

— «Что-то, что-то!» — передразнил я Ваньку. — В войну сколь раз играл, а как называют ордена, опять забыл.

— Да не забыл, не успел разглядеть из-за крапивы, — оправдывался Ванька. — Не в заулке я был, а в огороде Ондreja Бателенковых. Межу перебежал, только на прясло залез, а Пашка мимо шпарит-понужает коней. Крапива эво чо выдурела! Изжалился до пупырей. Во, глядите...

Мы поняли, что Ванька не обманывает и его не надо заставлять есть землю. Ясно, что в Юровскую семилетку прислали-таки нового военрука и старшеклассники с осени опять начнут изучать военное дело, пойдут к белому яру у речки Крутишки стрелять в нарисованного на доске черного фашиста. Винтовка одна на всю школу — старая трехлинейка, зато самая что ни на есть боевая.

С самого начала войны появилась винтовка у нас в школе. Все юровские парни и даже старшие детдомовцы учились метко стрелять сперва из нее, а уж после, на фронте, давали им новые винтовки, автоматы и пулеметы. Кто командиром стал, тому и наган доверили. Вот и выходит: из какого бы оружия ни стреляли по фашистам наши дяди и братья, но первый боевой выстрел они услышали и сделали у белого яра на Одине.

Нам не доведется пальнуть из винтовки: война, как поговаривают взрослые, должна вот-вот окончиться. Ну и пусть! Лишь бы скорее доби́ли Гитлера, а мы настроляемся из рогаток и луков, подрастем — пойдем с ружьями на охоту вместе с тятей...

— Копать будем или... — не договорил Ванька Антонин, выглядывая из ямы. Он осекся-испугался: вдруг мы снова назовем его трусом и насовсем прогоним из Шумихи.

— Ладно, хватит сегодня! — решил за всех Осяга, и каждый согласился с ним.

Инструмент спрятали в таловых кустах за ручьем, отмыли руки и покарabкались наверх. От Шумихи пересекли пашню, за ней пологую ложбинку и сельсоветской оградой выбежали к детдому, где до войны был лучший в районе сельский клуб. Остановились у пожарной каланчи и задумались. Всем охота поглядеть на военрука, не завтра или послезавтра, а сейчас же, но никакого дела не нашлось, чтоб гамузом пойти к Офимье.

— Стало быть, завтра у тебя, Васька, собираемся, ага? — кивнул Осяга, и мы разбежались по домам.

Один лишь Ванька Парасковьян не отстал от меня. Догадался, что коли я пошел к бабушке, то замышляю сбегать к Офимье.

— Ко времени, ко времени, Васько и Ваньша! — обернулась бабушка от печного чела. — Токо-токо упрела понешняя картошка. Солью воду — и милости просим за стол! А ты, Васько, слазай-ка в погреб за молоком и мало-сольными огурчиками.

Рано пока ужинать, но не станешь с порога кричать: «К нам нового военрука прислали!» А если бабушка была дома, когда Пашка на паре прогнал заулком, то она раньше меня узнала новость.

...Первый военрук из приезжих побыл у нас недолго. Безрукого лейтенанта Киху перевели в район, и на смену ему явился в школу наш деревенский парень, одноклассник дяди Вани — Михаил Грачев. Он вернулся с фронта по тяжелому ранению, а все равно считал, что его вот-вот вызовут в райвоенкомат и — «дан приказ ему на Запад». Наверно, поэтому и не снимал блестяще-желтые погоны с тремя белыми звездочками, по-удалому носил черную кубанку с малиновым верхом, и русский чуб вился по ветру, как у казака. Его почему-то все звали Мишкой, кроме учителей, и мне до слез бывало обидно за нашего военрука!

Михаил и сам не считал себя учителем и сначала на больших переменах за школой курил с семиклассниками самосад, рассказывал им что-то веселое и сговаривал на фронт. Но кто-то из учительниц увидел его в компании старшеклассников, потом, сказывали, постыдила его Анна Вениаминовна Быкова, которая была классным руководителем, когда Грачев оканчивал семилетку, и мы больше не замечали военрука с самокруткой среди старшеклассников. Одному верен был дядин товарищ. Где надо и не надо твердил свое:

— Вы подрастайте, хлопцы, а я ать-два на фронт! Я своего добьюсь!

Однажды Михаил опоздал на уроки и явился в перемену какой-то шибко веселый и краснолицый. Директор школы Нина Николаевна Крысина строго посмотрела на него в коридоре, а Грачев даже внимания не обратил. Громко, как будто он отдавал приказ, гаркнул:

— Здравия желаю, товарищи солдаты и сержанты!

Мы что-то хором ответили военруку, а он уже не замечал нас. Подошел к Нине Николаевне, тихо, без шутливости произнес:

— Извините, Нина Николаевна, если что не так выполнял. А пока до свидания, уезжаю на фронт.

— Как, почему?! Я вам не разрешаю! — удивленно и растеряннo оглянулась она на нас, будто мы могли задержать Михаила.

Техничка Фрося выскочила из своей комнатки и затрясла что есть силы звонок, но ни учителя, ни школьники не расходились. Ребята постарше давно перестали играть «жесткой» — овчинным лоскутком с приклеенным пятком, — и в коридоре стояла тишина, какой могли позавидовать учителя на уроках. Только у больного Василия Георгиевича Заварницына, отравленного газами еще в первую мировую войну, на литературе и русском языке никто не баловался.

Все смотрели на Михаила, враз ставшего для всех не Мишкой и военруком, а боевым командиром.

— Дядя Миша! И мы с вами! — спугнули тишину семиклассники, и громче всех кричал племянник военрука Яшка Пospelов.

— Такого приказа старший лейтенант Грачев не дает! — отчеканил дядя Миша и с улыбкой добавил: — Учитесь, ребята, и не узнать бы вам никогда в жизни, что такое война. А мы и без детей победим, правильно? Верите?

— Правильно!

— Верим!

Михаила Грачева так и проводили до подводы у сельсовета всей школой, а потом, присмиревшие, вернулись на уроки.

А он больше никогда не вернется ни в Юровку, ни в школу... Через полгода его мать Евдокия Кузьмовна получила «казенное извещение»: «Гвардии капитан Грачев погиб героем в боях с немецкими оккупантами, защищая от них Советскую Родину...»

После Михаила Грачева военруком назначили опять нашего земляка — прибывшего из госпиталя Петра Григорьевича Пестова. Он был на немного старше дяди Миши, однако его с первого дня звали не как-нибудь, а только по имени и отчеству. Ох и серьезный же был старший брат моего одноклассника Вани Пестова! Петр Григорьевич тоже не снимал капитанские погоны, и на правой стороне

груди — глаз не отведешь! — сверкали два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны. И как-то по секрету шепнул Ваня: «Петр дома не задержится, потребует отправки на фронт. Потому он и не согласился служить в милиции».

Совсем случайно мы подслушали в приоткрытую дверь учительской, как обиженно пеняла его директор школы:

— Ну что вы, Петр, как и предыдущий военрук, вдолбили себе в голову фронт! Разве в госпитале не знают, кого куда выписать, разве вас, будь вы годны по здоровью, отпустили бы домой?

— В буквальном смысле я не годен для строевой службы, а уж тем более для фронта. Я ведь не подаю вида ни дома, ни в школе, как мне бывает плохо... Вы поймите меня: я спокойно до школы не могу дойти, все время чувствую на себе взгляды матерей, чьи сыновья погибли или воюют. А я вот гуляю, и руки-ноги целы у меня...

Так вот откуда строгость у Петра!.. Оказывается, он скрывает, как донимают его раны, и мается, очутившись в тылу...

Добился и Пестов своего. Ваня рассказывал недавно, что опять им пришлось письмо из госпиталя, однако Петр не сулится домой до победы над Гитлером...

Давно, давно не было в школе военрука, и вот он приехал, а мы в своей «шахте» прозевали... Как же его повидать, в школу еще не скоро?..

— Бабушка, — макая картошку в серую соль, начал я. — А ты не слыхала ничего?

— А что? — выронила она надкусанную картошку из руки на столешницу. — Поди, с отцом или с Ваньшой что неладно?

— Не, все с ними ладно. Военрука нового к нам прислали и жить определили к Офимье! — выпалил я.

— Вон что! — обрадовалась бабушка. — И правильно! Надо к нам в школу военного, чтоб было кому приструнить вашего брата. А что к Офимье направили — тоже правильно! Горница у нее светлая и сухая, девчонки смиренные. Уж кто-кто, а Офимья за ним присмотрит и пообиходит вместо матери родимой. У самой муж и сын сложили головы на войне. Уж она-то приветит, славнящая женщина, обиходная! А вам, поди, гребтятся поглядеть на него? — хитро прищурилась бабушка. — Вижу, вижу! Да чего с пустыми-то руками идти, я гостинцев соберу, а вы с Ваньшей и оттащите.

Я слетал в погреб и принес оттуда горшок варенца, а бабушка достала из подпола яичек — их она хранила в старом ведре с золой, к ним добавила блюдо с огурцами.

— Спросит, от кого, так и молвите, что от бабушки. А боле и баять нечего, — наказала она нам на дорогу. — Корова у Офимьи на днях рог сломила и молоко сбавила. куричешки несутся где попало по лебеде да по крапиве — ваш брат и зырит за ними. Самой-то Офимье рази уследить? День-деньской на ферме и сама, и девчонки с нею. Парного бы молочка, да стадо покуда не пригнали. Вдругорядь уж отнесете, — вздохнула бабушка.

До Офимьиной ограды сто шагов когда еще мной насчитано! Как баню стали у нее топить, когда бабушкина в заулке упала. Дрова тащишь — считаешь, обратно идешь — считаешь. Не до счету только после бани: угоришь и радешенек доплестись хотя бы до бабушки сперва, а домой-то после, как отойдешь немного. Дома мы в банный день всегда ставим самовар и пьем чай с костянкой в расоле. Скорей огуречного выгоняет она угар из тела.

Впервые несмело торкнулся в дверь Офимьиной избы, и мужской голос отозвался: «Войдите!» Робко переступили через порог — в передней комнате было пусто. Ни самой Офимьи, ни ее курносых и вечно сопливых Вальки с Манькой.

— Кто там? Проходите сюда! — позвал нас тот же голос из горницы, и мы пуще прежнего оробели с Ванькой Парасковьиным. Приглашал нас не кто-то, а сам военрук! — Ну что же вы, ребята, стесняетесь! Раз пришли — будьте гостями, садитесь в передний угол! — подтолкнул нас из дверей горницы к стульям приветливо-веселый голос военрука. — Меня немного с непривычки растрясло на телеге, ваш Паша гнал лошадей из Усянки, как при наступлении.

В горнице на деревянной кровати под легким суконным одеялом лежал совсем молодой парень, в синих глазах не было ни капельки взрослого превосходства над нами.

— Будем знакомиться. Я Александр Васильев, по батюшке Владимирович. Мама звала Саней, а наши деревенские ребята Шуркой. Вы называйте дядя Саша, если понравится. Э-э-э, что у вас в руках?! Моей хозяйке приесли?

— Не, вам... — пробормотал я.

— Что значит мне? — посуровел неожиданно военрук.

— Да Васькина бабушка дала вам гостинцы, — не вытерпел Ванька.

Ему, видать, поскорей хотелось избавиться от тяжелого блюда с огурцами. У меня потяжелее была ноша, но узелок с яйцами я ему не доверил: разобьет еще, какой с него спрос!

Левое веко у военрука часто-часто задергалось, и у меня мелькнуло: «Контуженный... Тятя ненадолго приезжал, у него вот так же дергались веки глаз...»

— Неловко как-то, ребята, — теперь уже застеснялся военрук. — Я только-только в село и... угощение.

— А вы, дядя Саша, попробуйте! — совсем расхрабрился Ванька. — У Лукии Григорьевны во как вкусно все получается!

— Спасибо, спасибо ей передайте, и вам спасибо! Сейчас с дороги что-то не хочется есть, так вы уж поставьте куда-нибудь дорогие гостинцы. Одного я знаю как зовут, а тебя? — обратился военрук к Ваньке.

— Ванька Парасковьян!

— Ага, Ваня! А фамилия Парасковьян?

— Не, у нас почти всех ребят по материному имени зовут, как отцы ушли на войну! — пояснил Ванька.

— В школе оба учиться? Нет? Ты, Вася, значит, в четвертый пойдешь, а Ваня через два года подрастет до школьника. Хорошо! Подвигайтесь-ка поближе ко мне.

...Спасибо бабушке! Помогла она нам с Ванькой первыми узнать нового военрука и послушать его про войну. Шел дяде Саше двадцатый год, и воевал он после офицерского училища недолго. В последнем бою его контузило, вдобавок перебило левую руку и ранило в правое бедро. Чудом не похоронили его в братскую могилу, да он шевельнул ногой.

Пока военрук рассказывал, я косился на гимнастерку лейтенанта, что аккуратно висела на спинке стула. С правой стороны была нашивка за ранения и под ней орден Красной Звезды, с левой — медаль «За отвагу». Вот тебе и мало воевал! На два года всего и постарше Пашки-сливковоза, а уж лейтенант, и ранен тяжело, и орден с медалью заслужил... Выздороветь бы только дяде Саше! А раз сам о возвращении на фронт не говорит и родное село на Орловщине немцы пожгли, то и остался бы в Юровке... Ему поглянется у нас! Люди приветные, и места у нас красивые. как детдомовцы говорят, и учителей надо в школу...

Бегать к Офимье и надоедать дяде Саше мы не стали, и пусть он нас сам приглашал, пусть и охота нам его по-видать и послушать. Бабушка чаще всего сама относилa военруку парное молоко или что-нибудь из овощей. И все сокрушалась, что нету муки у нее, а то бы она — раньше из трех сел заказывали ей стряпню на свадьбу — угостила бы его шаньгами или блинами. Блинов, правда, она напекла дяде Саше. Мы с ребятами набруснили в поле спелого овсюга-полетая, высушили в печи, истолкли в ступе и намолотили муки на жерновах. Уж какая там мука из полетая, но блины на вид получились — загляденье, и сытные.

Работать в Шумихе мы не перестали. И как-то в окно из школы дядя Саша увидал нашу артель. И хоть худо еще ходил, опираясь на «третью ногу» — как звал он в шутку свою трость, добрался до логa, и мы испугались, когда с яра донеслось:

— А, вот вы где! Небось, блиндаж сооружаете, воевать собираетесь?

Мы с Осягой помогли военруку спуститься к нам, а когда он отдышался, Ванька Антонидин важно сказал:

— А вот и не угадали! Вовсе не для игры в войну роем.

— Любопытно, ради чего ж?

— Полезные ископаемые ищем! — как на уроке географии, ответил Осяга.

Военрук не засмеялся, а серьезно оглядел нас и лог с ручейком и в шахту заглянул:

— Возможно, что есть под нами нефть или железная руда, но, хлопцы, поглавное есть у вас богатство.

— Какое?!

— Земля.

Скажи нам такие слова не военрук, мы бы не только прыснули, а еще и дразнить стали бы, даже старше себя возрастом. Однако дядя Саша опередил:

— Смешно, не верите? По глазам вижу — не верите. А вы подумайте, подумайте! Да, да! Самое главное наше богатство — та самая земля, которую люди пахут и засевают. Этот тонкий слой земли и есть жизнь для человека.

Как тут не приунуть... Столько трудов вбухано в шахту, сколько раз переругались и снова помирились, надеялись открыть втайне от взрослых песляханное сроду месторождение полезных ископаемых. А оказывается, главное-то богатство наверху, пашня-новина, с таким трудом распаханная на быках...



До сумерек дядя Саша рассказывал нам не о войне, а о земле, будто направили его в Юровку вовсе не военруком, а учителем географии. Заслушались мы и забыли о войне, о своих раскопках. И не будь у него трости и наград на гимнастерке — забыли бы напрочь, что сидит с нами в Шумихе не простой учитель, а военрук. Стало даже обидно: старшеклассникам повезло, вон как военрук интересно говорит и сколько знает всего!..

С первых дней сентября мы после уроков ходили «на колоски», и дома добавилось работы. Надо и у себя и у бабушки убрать в огородах, и на нашей корове Маньке вывезти сено. С ним маяты много. Манька своенравная, на каждой дороге найдет для себя куст боярки. В облюбованный куст и повернет круто с возом, и сена как не бывало!

Однажды ездили мы с братом Кольшей за последней копной на угор. Воз развалила Манька в самом густяке на бывшей вырубке, и мы с братом, досыта наревевшись, чуть не под утро приехали домой. В избе горела лампа, а за столом сидели рядом с мамой сестра Нюрка и бабушка. Все заплаканные, и у нас с Кольшей у порога приросли отнялись ноги. Неужто похоронная на тятю или дядю Ваню? Не о нас же они урелись, не впервой нам допоздна ездить, и одностволка тятиня всегда с нами.

— Чего раскусились?! — насупился Кольша, как старший в доме из мужиков.

Нюрка отвернулась в простенок, зашвыркала носом, а мама, смаргивая слезы, выдохнула:

— Помер, помер, робята, наш-то военрук...

...Совсем близко, над тополями и ветлами юровской Одины, в небе засветился лебединым пером народившийся месяц. Кто-то прикоснулся к моим волосам, и я вздрогнул, качнулся к земле. Бабушкин голос негромко-печально позвал:

— Пошли, Вася, домой. Босиком ить ты, в одной рубашонке. И никого на кладбище не осталось. Ишь, как тебя знобит... Захворает еще...

За кладбищем мы оглянулись с бабушкой, и мне почудилось, будто железная звезда над сумеречно-свежим холмиком заалела изнутри, как орден на гимнастерке военрука.

ЛИМОН

Димка Каменских больше всех из эвакуированных ребят интересуется нашим деревенским житьем. Он хочет во всем походить на меня и на моих дружок.

Подружились мы с ним вовсе не потому, что Димкина мама, Мария Александровна, — учительница, и у нее в классе учится моя сестра Нюрка. А уж Димке ли бы не задирать нос! Он не откуда-то там, а из самого Ленинграда,

родился там, и не будь войны — не бывать бы ему в нашей Юровке.

Одно плохо — Димка не любит рассказывать о своем городе, сразу полные глаза слез. Да мы и не спрашиваем, знаем от взрослых: немцы второй год пытаются уничтожить Ленинград. Димку тоже бомбили фашисты, они с мамой остались живы, а бабушка и сестренка погибли. Как тут спрашивать... Вот победит Красная Армия, вернется тогда Димка домой, и мы, как вырастем, поедem к нему в гости, и он нам покажет Ленинград, и все-все расскажет нам с ребятами.

Пока не шибко получается из Димки деревенский парнишка. «Чо» да «почо» он быстро научился говорить, а полез с нами в огород Онисьи Занозы — больно сладкая у нее растет морковь-коротель — тут же и попался зловредной хозяйке. Натолкала она ему крапивы в штаны, да ладно хоть не нажаловалась матери. А то бы Мария Александровна не стала отпускать Димку с нами.

Стали дергать волосины на лески из хвоста у школьного мерина Лысана, так не меня или Вовку Барыкина, а именно Димку и лягнул мерин в живот — еле отпоили водой из речки Крутишки, по воду бегали с фуражкой, испугались: а вдруг Димка помрет?

Еще слаб наш дружок на простуду. Всего раз и сходил с нами весной зорить ворон и сорок, а потом долго хворал-кашлял. Мы-то привычные к чирьям и цыпкам, а если привяжется кашель — бабушка турнет наломать сухих крапивных дудок. Покурим их, и пегу кашля! Насморк одолеет — греем лицо под лопотиной над чугуном вареной картошки. Глядишь, и выздоровели!

Однако Димка все равно тянется к нам, а не к приезжим. И я дня без него не проживу: он не явится если, то сам бегу к ним. С Димкой хорошо играть, и мама сказала как-то мне:

— Смотри, не обидь Димку, играй с ним и не потянет на пакость. То ли вам своих овощей мало! Эвон: три огуречных гряды у колодца, две гряды с морковью и бобов полно. Своего не переест, а вы все куда-то ползете!

После Онисьиной крапивы мы не лазили с Димкой в чужие огороды. Рвали, но куда с большей боязнью, лишь зеленые стручки на колхозном гороховище. Поле охраняли верхом на конях самые злые парни, и там зевать не приходилось. За стручки плата была одна — кнут или тальниковая хлыстина.

С Димкой нас чуть не раздружило его же любопытство. Осенью после школы помогали мы бабушке выколачивать семечки из подсолнуховых шляп. Сидели на полу кухни, и Димка между делом что-нибудь спрашивал у меня. Бабушка понесла пойло корове, и он шепотом, будто Лукия Григорьевна могла услышать его на улице, спросил:

— Васька, а что вон там на стене висит?

— Где? — переспросил я его, а сам уж знаю, о чем он спрашивает.

На стене напротив печки висела связка красного перца. Стручки здоровенные, по кулаку нашему каждый!

У бабушки почему-то всякая овощь росла крупная. Тыквы не таскали, а прямо из огорода, как бочонки, закатывали в погреб. Картошку бабушкину все соседи называли не иначе как «поросята-ососки». И хоть многие брали на семена, собирали осенью мелкотье. «Слово какое-то знает Лукия», — решили они и перестали ходить по семена.

Мне бы и сказать Димке, что сушатся на стене стручки перца и что до того они горько-едучие, лизнешь — и враз из ума вышибает. Но захотелось похвастаться перед ним, ну и ляпнул:

— Фрукты это висят.

— Какие?!

— Лимоны, — шепчу я, хотя в жизни не видывал никаких лимонов, а в какой-то книжке читал.

Только там ничего не написано было — сладкие они или горькие. А раз пили в книжке чай с лимонами, то, стало быть, они, как сахар, или еще слаще.

— А можно один-разъединственный попробовать? — начал просить Димка.

Как тут ему откажешь, да и не поверит он, что «лимон» этот — сплошная горечь. Обидится, скажет: «Жила ты, Васька, а дружком называешься еще! Семечки выколачивать, так помоги, Дима, а одного лимона пожадел...»

— Чего не можно!

Оторвал я самый крупный стручок и протянул Димке. Я-то думал, что он слегка куснет и тут же выплюнет, и мы вместе посмеемся. Однако Димка мгновенно разжевал «лимон», и я не успел сознаться в обмане, как дружок с воем кинулся на улицу. В сенках он столкнулся с бабушкой, и загремела-покатилась пустая бадья у нее из рук. Как еще дверями не ушиб он бабушку...



Следом за Димкой и я выбежал на крыльцо мимо перепуганной бабушки, да где там! Димкин рев донесся уже с Подгорновской улицы, где жили они в сельсоветском доме.

Я и не нюхал перец, а слезы сами закапали из глаз, и того пуще расстроилась бабушка:

— Что приключилось-то, Васько? Пошто Димка с ревом убежал? Чего ты без меня натворил?

— Что, что... — заревел и я. — Димку обманул, стручок перцу дал ему вместо какого-то лимона.

— Перец!.. — ахнула бабушка. — Да в своем ли ты уме?! Он ить как огонь палит нутро... Мне раз лепестинка на зуб случайно изгадала, в девках ищино было, а по сих пор помню. Еле-еле молоком запила. Думала, во рту все у меня сожжет...

— На, неси Димке сметану! — скомандовала бабушка и протянула мне кринку.

— Спасибо, баушка! — обрадовался я и побежал к дружку.

Но зайти к ним побоялся: его мать вешала на прясло выстиранное белье. Поозирался по сторонам и сообразил: заулком спустился к речке, оттуда прополз лебедой к дому и, как только Мария Александровна зашла в дом, из-за угла поставил кринку на крылечко.

Бабушка умела молчать и никому не сказала про мое «угощенье», но коли Димка не появлялся, то первой и забеспокоилась мама:

— Чего не прибегает Димка-то? Захворал, поди, а ты и не проведаешь. Еще другом называешься.

— Да так чо-то не идет, — отговорился я. — Может, матери помогает.

— Ну и беги, пособи Димке. Он ведь тоже помогает тебе, — настаивала мама.

Несколько раз я бродил возле речки или отсиживался в черемухе за бабушкиной избой, но к Димке пойти не мог. Слов для прощания всяких навспоминал-напридумывал, и сам не раз поревел, пробуя в наказание себе разжевать перец, да немели ноги, как только оказывался вблизи Димкиного дома.

Выпытал у меня про Димку старший брат Кольша. Но он не бабушка: рассказал ребятам в школе и маме. Мама кивнула на отцову плетку на стене под полатами — сплел ее отец из сыромятной кожи перед самой войной для лошади, а вышло для нас — и всего-то молвила:

— Чтоб завтра Димка был у нас!

Если отец никого из нас ни разу пальцем не задел, то без него от мамы доставалось нам. И отцова плетка «ходила» не по бокам ленивого мерина Седого, а не раз ожигала нас до костей. За провинности, конечно. Вот и сознавайся родному брату...

После уроков огородной межой удрал я прямо к бабушке и рассказал, как выдал меня Кольша. Она пообещала

сходить к Марии Александровне. Когда бабушка ушла к Димкиной матери в школу, я забрался на полати, чтоб не увидала ненароком мама. Тихо лежал и потом всем телом вздрогнул, когда кто-то постучался с улицы в окно. Плотнее прижался к полатницам, но стук повторился. Осторожно глянул через брус и... не поверил. На улице под окном стоял Димка!

Минуя верхний голбец, слетел с полатей на пол, выскочил в сени и открыл дверь. Я начал что-то говорить, но дружок опередил:

— Да не сержусь я на тебя, Васька! Не сержусь! Зато знаю теперь, что такое перец. А про лимоны мама рассказала. Они, Вась, тоже не сладкие, а нахучие, и потому с ними чай пьют. А еще знаешь, — улыбнулся Димка, — меня подгорновские ребята Лимоном дразнят. Теперь и у меня прозвище есть. Теперь и я, как все деревенские. А то Каменских да Каменских!..

МАНЬКИН КУСТ

Мы с братом Кольшей не жились под окуткой на полатах, когда мама побежала на работу, и только в сенях она вспомнила про вчерашнюю новость:

— Ребята! А и совсем я было запаматовала: директор нам сказывал, что сегодня укажут покос для детдомовских рабочих. Смотрите, никуда вечером не убегайте, ждите меня дома. Ладно?

— Ладно, ладно! — отозвалась за нас сестра Нюрка у печи, где она готовила похлебку на обед.

Мы с Кольшей стали загадывать: где, на угоре или у болота Трохалево, отведут нам косить сено для нашей коровы Маньки?

Пуускай мама и не наказывала ничего, однако Кольша сам достал из-под сарая литовки и начал их налаживать. Расклинил кольца, и пятки литовок перестали болтаться, как будто приросли к литовищам. А у тятиной полиномерной литовки пятка крепится четырехугольным хомутиком с винтом, и брат аж покраснел, натуго подкручивая винт. Потом он сыромятными концами перевязал ручки, выкатил комелек-коротыш с отбойной бабкой и поплевал на лезвие тятиной литовки, прежде чем оттянуть ее отбойным молотком.

Одну за другой Кольша отбил все пять литовок и опро-

бовал их на крапиве вдоль прясла на заулке. Самую маленькую, четвертную, протянул мне:

— На-ко, Васька, покоси! Да не изгадай по жердям.

Я тоже помахал в охотку, оголил с заулка прясло огорода Андрея Бателенковых. Ничего, не разучился за зиму, ни разу не воткнул в землю носок литовки и по жердям не изгадал.

А брат добрался до граблей и вил. Мне велел смазать дегтем ступицы, спицы и ободья колес у телеги. Упряжь вся хранилась в чулане и была починена Кольшей давно, когда еще по первому снегу вывезли с Мохового болота накошенную осоку на подстилку Маньке.

Вечером Манька подозрительно скосила глаза на телегу с литовками, граблями и вилами. Видно, догадалась, к чему они оказались на телеге, и тревожно дышала, пока Нюрка доила ее. Очутившись на заулке, Манька успокоилась и дотемна наслась на воле. И мы не ложились спать, дожидались маму: сегодня рабочие детдома дотыкали последний зарод для колхозных быков...

— Сумерничаете?! — удивилась она, и по голосу поняли — мама довольна не только нашими приготовлениями к сенокосу, а и чем-то другим, и нам не терпелось знать — чем? — Не на угоре нынче станем косить, — устало заговорила мама, и мы насторожились.

Мысль у всех одна: где, где же?!

— У Мохового болота. Оно и не ближе, зато сподручнее, и травы там лучше. Не крючить по вырубкам, а косить оберучником можно. Опять же у Мохового ляжины, релки и елани. Чистый покос, без дудок и чащи. Милое дело — сено-то возить, ребята! — продолжала мама. — Сколь маеты изведали с угором: то пенек под передок телеги изгадает, и с курка он слетит, то корова сунется в кусты и воз развалит, то на раскате под угор сено набок скатится... От Мохового много спокойнее ездить, одно и препятствие — жидкое место между болотинами. А так дорога ровная, уклон берегом не велик, воз не разъедется с телеги.

Новый покос... Леса и поля вокруг Мохового хожены-перехожены нами на сотни рядов. Еще до войны водил нас туда с собой тятя на охоту: сторожить его одежду на берегу, когда он, раздевшись по пояс, уходил к плесам-частинам стрелять уток. Под вечер мы не столько от комаров, сколько от страха залезали на какую-нибудь высокую сучковатую березу и смотрели-искали, где засел в скрадке наш отец. Плесины на месте горелин угадывались по таловым кусти-

кам и зелени камыша-рогоза, а тятю находили по выхлопам огня и дыма. И уж совсем в темноте отец выходил из болота, окликал нас с Кольшей, и мы чуть ли не сваливались с лесины.

На рёлки¹ и еланки² бегали за клубникой. Там — два года минуло, а не забывается обида — впервые в жизни нас ограбил Санко Илюхиных. Выскочил из кустов с оравой парней помладше себя и отобрал ведро с ягодами. Клубнику по картузам, нам каждому по пинку, а пустое ведро забросил в болотные кочки. Ловко было ему справиться с нами: вон какой породный. Осенью того же года на фронт его взяли. Теперь Санку страшнее, чем тогда нам, теперь ему приходится воевать с немцами, а не с соплявыми и ревливими ребятишками. И приди он вдруг домой по ранению, ясное дело — обижать никого не стал бы. На войне, говорят, дурь быстро вылетает из человека...

У Мохового позорено нами немало и сорок, и ворон, и уток. А грузди и ягоды всегда оттуда начинаются. Обабки здорово там растут, впору литовкой коси, таскать не перетаскать!

Ничего не скажешь — доброе, веселое место дали для покоса: с Юровкой рядом и до поскотины рукой подать.

Косить начали с трех ляжин, где стеной выросла тимощеевка впережку с осокой-шумихой. Здесь сено надо выкосить быстрее, иначе совсем затвердеет трава. А как «свалили» ляжины, утрами по росе бойко добрались до релок и еланок. Около полудни уходили косить на лесных прогалинах листовник — мягкое разнотравье.

Стан облюбовали на бугристом мыске в редких березах. Тут и сухо, и ягоды, и грузди у самого балагана, и старый копанец-колодчик близко.

Пока косили, гребли и метали сено, Маньку гоняли на поскотину.

За три военных лета привыкла корова к сбруе и телеге с тяжелым возом. Сначала и поупрямится, не без того. Своевольная она у нас, побродяжить любит, если не встретишь ее вечером на берегу Маленького озера. Но многих коров Манька выносливее и ни разу не скидывала мертвого теленка. И слабым не телится: бойкие и живучие у нее телята! Правда, все — бродяги по матери и по огородам лезут, как и Манька.

¹ Рёлка — сухая, возвышенная полоса по болоту.

² Елань — возвышенная, открытая равнина.

До школы мы успели управиться с покосом. И как только выкопали картошку, спустили ее в погреб, после уроков стали ездить с Кольшей за сеном. Дело привычное.

Манька на привязи в длину вожжей щиплет отаву на ляжинах. Брат ловко и быстро рубит подкладки и бастрык, а я стаскиваю все к телеге. Потом Кольша ровными пластами начинает раскладывать воз, а я утаптываю сено на телеге. Самое трудное — крепко затянуть бастрыком воз. Весу во мне мало, и, если я один висну на конце бастрыка, он почти и не наклоняется. Приходится давить его вдвоем и тут же затягивать веревку.

Вот засветло воз уложен, затянут и обобран граблями. Кольша запрягает Маньку, и оба радостно, не без волнения шепчем: «С богом!»

Все бы хорошо: воз не задевает за кусты и лесины, жидкое место замостили палками и чащой — колеса не вязнут. Да вот беда так беда: завелась у Маньки с первого же дня вредная привычка. На выезде из последнего леса вблизи дороги здоровенный куст боярки соединился с таловым — гущина непролазная. В него-то и стала бросаться с возом наша «лошадь». До самого куста идет как ни в чем не бывало. И как ни караул ее, как ни ори — внезапно кинется в куст, пока воз не упрется, не остановится.

Первый раз не могли выпятить Маньку на дорогу, и пришлось сваливать сено и перекладывать воз. Жалко было шевелить его, наревелись с Кольшей, да что поделаешь... Переложили, еле затянули бастрыком и в потемках выехали на голый берег Мохового. Уклончик к болоту и не велик, а поползло-поехало сено на левый бок, и как ни старались мы вилами удержать воз — не смогли. На порожней телеге не поедешь домой, если бы даже мама не ругалась. Совсем ночью при одних звездах начали укладывать сено и третий раз затянули бастрык. Пыхтеть да реветь некогда: километрах в четырех у Трохалевского болота заголосили волки. Всего-то и обороны у нас топор и железные вилы. Попробуй с этим «оружием» отстоять Маньку... И хоть бы где-нибудь человеческий голос услышать или увидеть огонек...

Около фермы у Юровки нас встретила мама с Нюркой, и мы сразу почему-то согрелись, даже захрабрились. Мама и не спрашивала, сама поняла, из-за чего припозднились. Она же и утешала:

— Главное — зачин сделали, опосля глаже пойдет, и Манька попривыкнет к волоку.

Манька и не собиралась отвыкать от куста. На другой день она опять ринулась в боярку, и мы кое-как, с руганью, а спятили ее с возом. Оцарапались до крови, как только глаза уцелели у нас, а корове ну хоть бы что!

В воскресенье поехали с утра, чтобы обернуться дважды или трижды. Но куст? Его не объедешь, не минуешь, и не губить же его из-за Маньки. А Кольша все-таки придумал:

— Васька! Бери палку и шуруй наперед подводы в куст. Да спрячься там. И как Манька сравняется с кустом, мотанет башкой туда — выскакивай и дубась ее палкой. По-другому никак не отвадить ее!

С полдороги я убежал с увесистой палкой и затаился за кустом боярки.

День выдался солнечный и по-летнему приветливый. В тишине только листья с ближних берез осыпались на меня, синицы и поползни порхали над самой головой.

Медленно приближается скрип телеги, брат изредка подкикивает, чтобы я знал, где он едет.

А вон и наша белорожая Манька показалась с возом. Лишь корова повернула голову и задела мордой крайние ветки куста, я выскочил ей наперерез, стукнул палкой по единственному рогу, потом и по морде. Манька отпрянула и так со злости зарысила, что мы с Кольшей отстали и испугались, как бы она не надумала свернуть в болото. Оттуда нипочем не вызволить телегу, а не то что сено.

И со вторым возом я выскочил на Маньку с палкой, и с третьим повторили то же самое. Жалко ее бить, но не до снега же возить сено.

Когда отметали последний воз, к нам завернул в гости троюродный брат Васька Овчинников из соседней деревни Морозово. Школу, пятый класс, ему пришлось бросить, и вот уже второй год возит он на быке Мурае молоко из своего колхоза «Красный пахарь» к нам в Юровку на сливкоотделение. При нем Нюрка доила Маньку и, процеживая молоко в кринки, удивилась вслух:

— Что-то сегодня враз сбыло молока на две кринки. Кажется, рано Маньке еще отдаивать. И воза не столь большие, те разы степовое сено возили и ничего. Отчего бы это?

— А я знаю, Нюра, — сказал Васька.

— Уж и знаешь! — засмеялась сестра. — Уж и скотским доктором стал!

— Поезди с мое на быке — узнаешь! — обиделся Васька и повернулся к нам: — Роя, куда у вас корова сворачивает с дороги в одно и то же место?



— В боярку, а чо?

— Лупили ее? Поди, надоело маяться с сеном? Лупили, по глазам вижу! Вот и сбыло молоко у коровы, разозлилась она. Я чо посоветую, Кольша: не лупите ее больше. Пушай она лезет в куст. Постоит, постоит да и сама же выпятится. Ей-богу, сама! У моего Мурая тоже любимое место имеется — омут на Крутишке возле стлани. Первый раз еще весной заволок он меня туда с флягами, и досыта я наревел-

ся, тогда быка понужал и сам простыл. Чирьями долго мучился. Дедушко Изосим узнал и что, думаете, посоветовал? Пусть, говорит, лезет Мурай. Все одно ты его не отвадишь, ему и себе нервы изведешь. У быков есть за- всегда излюбленное место, скотина сама заберется и сама же вылезет. С тех пор я как делаю? Сравняемся с омутом, прыгиваю с телеги и стланью перехожу на другой берег. Мурай натешится в омуте и сам вытягивает подводу ко мне. Поняли? А то без молока останетесь.

— Ладно, Васька, поняли. Только ты нашей маме не рассказывай.

— Да не скажу я тетке Варваре, не маленький! — пообещал Васька.

...На другой день после уроков мы снова поехали за сеном. Не терпелось нам испытать: прав ли троюродный брат или нет? Шли с Кольшей сбоку, чтобы Манька видела нас обоих. Весело нам было по другой причине: сена осталось на два воза и, стало быть, вывезем, пока ведро.

Перед кустом Манька зыркнула на нас и... зажмурившись, сунулась в боярку. Стоит смирно, только часто и шумно дышит. Мы сидим на обочине дороги, глядим на забуревшую осоку по болоту — опять она наросла, и опять по приморозу начнется косьба всей Юровкой — и ждем: что же будет дальше делать Манька.

Времени проходит не так много. Воз двигается назад, корова выбирается на дорогу и трогает вперед. Мы прыгаем, хохочем и ласково кричим:

— Маня, Маня всех басей и обоих нас умней!

Оглядываемся назад, где чернеет зловередный куст. И вовсе не страшный, и сейчас не просто какой-то куст, а Манькин!

Сено у Мохового болота будем и напрок косить, и возить его на Маньке придется долго — пока не кончится война и не воротится домой наш тятя.

К ТЯТЕ

На большой перемене старшеклассники сманили ребят курить в ложок за часовней, а нас с Витькой Паршуковым позвал брат Кольша.

— Айда за чиной, сладкая она и сытная! И прямо на уроках можно есть.

— А если опоздаем? Попадет нам с Васькой от Таисьи Сергеевны, — заколебался Витька.

— Еще как попадет! — подтвердил я и оглянулся на школу.

Учительница у нас сердитая, нервная. Хлопали мы как-то пистонами в классе, у доски два урока простояли.

— Успеем! — заверил Кольша. — Скирда близко, вон на поле за Шумихой.

Кольша побежал вперед, мы за ним. Пересекли новину, кубарем скатились в лог Шумихи и с разбега одолели противоположный крутой склон. Поле между логом и краем Одина не ахти какое, необмолоченная скирда чины совсем рядом. Одним махом добежим до нее, скинем лопотины да ногами и начнем топтать немецкий горох — чину. Долго ли по карману намолотить, не то что летом стручки рвать!

Вдруг нога у Кольши провалилась и утонула в земле.

— Хомячья нора, ребята! Чего нам колхозное зерно из скирды молотить, лучше разорим вредителя. Поди, дармоед, набил свои сусеки на зиму!

— А что мы найдем у хомяка? — засомневался Витька. — Да и нору у него лопатой не разроешь, а мы с голыми руками. Вон Колька Зыков как-то на Макарьевской поскотине два дня рыл суслика и не докопался до него.

— То суслик, а тут хомяк. У хомяка нора не вглубь, и зерна они на зиму запасают страсть много! Мешками защечными, тятя говорил, натаскивают. Зернышко к зернышку! На ветрогоне или на триере¹ людям так не отсортировать. Мы с тятей сколь раз находили их амбары, — рассудил Кольша и послал нас за палками.

На меже у лога лежала полувysохшая березка, выброшенная с пашни весной после снегозадержания. От нее мы с Витькой отломали три сучка, очистили ветки и вернулись к брату. Его охотничий азарт передался и нам, и мы начали быстро раскапывать извилистую хомячью нору. Даже не замечали, что швыряем землю друг на друга, лишь бы скорее добраться до сусека с чиной. Стало нам жарко, и лопотины полетели на жнивье, рубахи и те прилипли к телу.

— Ага! Вот, вот он, амбарчик! — заплясал Витька, и я кинулся к дружку.

Кольша тоже закричал, и Витька подскочил к нему. Брат наткнулся в отнорке на хомяка, и тот вцепился ему в ногу. Витька и я еле оторвали его от прокушенной штанины.

¹ Т р и е р — сельскохозяйственная машина для сортировки и очистки зерна.

— Ничего, ногу он не задел и на штанине дырки не шибко заметны, — пришел в себя Кольша. — Теперь, робя, за склад беремся!

Чистым угольчатым зерном чины мы набили все карманы и насыпали в фуражки. Остатки прикрыли соломой и заровняли землей, а для приметы воткнули обломок палки.

— Бежим в школу! — опомнился брат.

Однако резво бежать мы не могли. Можно растерять чину из карманов и фуражек. Лог и подавно не пересечешь с прежней прытью. Шли осторожно и на ходу убавляли чину из карманов.

Нам казалось, что времени прошло совсем немного, а на самом деле мы опоздали на последний урок. Возле школы торчать боязно, и договорились дожидаться конца занятий за соседним огородом Степана Васильевича. В завявшей, давно исклеванной воробьями конопле мы набросились на чину и наелись ею досыта, а звонка все не слышно. И тут мы вспомнили о своих сумках: если никто из ребят не догадается перепрятать в свои парты и незаметно захватить с собой, то учителя заберут сами и унесут в учительскую. Оттуда сумки отдадут не нам, а матерям. И тогда излунит мама нас с Кольшей... Если бы тятя был дома, а не на войне, то не дал бы он нас бить...

Пока ели чину, и не думали о сумках, тогда хвалились, что нам повезло, а одноклассники-то на голодное брюхо решают примеры по арифметике. Ну ежели кто вынесет наши сумки, тому отсыпем чины! А когда после долгожданного звонка ребята разбежались по домам, мы поняли, что куда несчастнее Маньки Теленочковой с ее одними и теми же оценками «кол».

— А если сумки в партах? — робко заикнулся Кольша, и мы решили проскользнуть незаметно в школу.

Лишь ступили на крыльцо, как навстречу наша с Витькой учительница Таисья Сергеевна Федорова. Ох, не попадаться бы ей на глаза! Не любит она меня и Витьку за наше озорство.

— Прогульщики явились, — сузила учительница серые глаза, и мы прижались к перилам крыльца. — Завтра без матерей не приходите! Не получите сумки без них, и на уроки не пушу! — спустилась она с крыльца и больше не глянула на нас.

Таисья Сергеевна ушла, и Кольша сбежал в свой третий класс, пошарил в парте, но сумки не было, ее, видимо, отнесли в учительскую. А без сумок из холстины, с ляпка-

ми через плечо, домой не являйся. Каждый вечер матери проверяют, где сумки, буквари и две тетрадки с чернилкой-непроливайшкой. Попробуй не принеси сумку!

Школа опустела, и техничка Матрена Егоровна закрыла ее на медный конский замок — такие раньше вешали на конские пута, чтоб конокрады, по словам бабушки, не угнали лошадей с покотины или с поля. Замок закрывается винтовым ключом, и его ничем не откроешь. Техничка с хромым сыном Ефимкой Спиридоновым ушли домой. Сумки у них все равно не выпросишь, как огня боятся директора школы Никиту Константиновича Рязанова.

Есть неохота, чине уже не рады. Видно, не зря дедушка Максим на празднике «красной борозды» твердил: «На что колхоз разводит ерманский горох? Не к добру, не к добру ето!» — «А ты не каркай», — оборвал тогда дедушку Петро Семенович. «Я что, я ничего, я в плену у немца отравлялся етой культурой», — оправдывался дедушка.

А мы хоть и не отравились чиной, зато остались без сумок. Если бы не хомячья нора, то успели бы за большую перемену слазать за чиной. Теперь тремся у школы, и забота одна — сумки...

— Нечего, робя, маяться! — заговорил Кольша. — В четвертом классе у трубы не заделали дыру. Я залезу с вышки, сумки возьму в учительской и подам Ваське. Ты, Витька, на карауле стой. Ладно?

— Ворами назовут, замок ведь на школе! — испугался Витька.

— Свои сумки заберем, а свое не воруют. Нечего изгаляться над нами! — рассердился Кольша и полез по высокой лестнице на чердак школы, я за ним, а Витька остался у крыльца.

Круглую печь дедушка Егор Олененок перекладывал летом, а дыру у трубы досками не забили, не засыпали землей с чердака.

Кольша без лопотины легко пролез на печь, оттуда спрыгнул в класс. Я ждал на вышке, чтоб принять сумки и помочь ему выбраться наверх.

Кольша что-то замешкался, и Витька не вытерпел — залез тоже на чердак и запыхтел мне на ухо:

— Где он там? А то техничка полы мыть придет и застанет нас.

Кольша вскоре появился в классе, придвинул к печке стол, а на него взгромоздил табуретку. С нее он и подал наши сумки. Вот и все, лишь бы никто не увидал, как мы

сиганем с вышки домой! А брат не полез обратно. Он показал какую-то книжку и громко сказал:

— Ребята! Шкап библиотечный открыт, а в нем книжки с картинками! Давайте поглядим, Матрена не скоро упрится дома.

— Домой бы, — занял Витька. — Какая управа у Матрены? Одни курицы.

— Как хочешь, — пожал Кольша плечами и протянул к нам руки.

Но Витька вдруг стал пролазить в дыру.

Книжек в шкафу, за всю жизнь не проглядеть, а не то что прочитать! И толстенные без картинок, и тонкие с картинками! Эх, так бы и сидел тут, но задерживаться-то нельзя, не дома и не в гостях!.. Да руки сами тянутся посмотреть то одну, то другую книжку. Расселись мы в учительской за столом, будто у себя в избе, и давай разглядывать книжки.

Первым глянул в окно Кольша. Тяжелая книжка выпала у него из рук на пол, и он соскочил с подоконника:

— Робя! Живо книжки в шкаф и на вышку! Ефимко хромает сюда!

Нам бы переждать на чердаке, когда подойдет Матрена, откроет школу и они с Ефимкой зайдут туда. Но с перепугу мы мигом скатились с лестницы и мимо Ефимки рванули по домам.

— Вору, воры! Держи воров! — завыл Ефимка.

Только у себя в огороде под черемухой и отдышались мы с братом. Вроде никто не гнался за нами и никто не видал нас, а нам казалось, что сейчас к школе сбежалась вся Юровка и хромой Ефимка рассказывает всем, как Колька и Васька Микитиных с Витькой Паршуковым обворовали школу. И нам стало страшно вовсе не потому, что отругает мама. Это привычное, и рев наш будет слышать лишь сестра Нюрка. Ничего в жизни не брали мы чужого, и тятя сколько находил лис с капканами, всегда разыскивал, чьи они, и отвозил, бывало, в дальние деревни. Если что и таскали мы, то лишь тятины пистоны. А завтра все назовут нас ворами, скажут маме, бабушке и сестре, что мы с Кольшей воры. И куда, куда нам деться от позора?!

— Васька! Сходим в избу, сумки отнесем и, если мама дома, скажем — после уроков оставляли, — постукивая зубами, сказал Кольша.

Мама стирала в деревянном корыте наши перемывахи и, не поднимая потного лица, коротко молвила:

— Похлебка в печке у загнеты. Поешьте и воды принесите.

Стемнело совсем, когда мы с братом вернулись к черемухе, где на лопушки репейника ссыпали давеча чину. Сели и пригорюнились.

— Что делать-то, Кольша?

— Думать нечего, к тятю на фронт пойдем. Тятю нас не прогонит, мы ему помогать станем.

— А чо мы поможем?

— Воевать, чо больше?

— Кто нам даст оружья? Я из тятиних и то не стреливал.

— Тогда ты патроны будешь заряжать, а мы с тятей стрелять по немцам.

— Не, Кольша, не дадут нам оружья.

— А мы рогаток наделаем. Резину я с лета приметил на окошке в кузнице. Стекло там разбито, с улки вытащим. Все равно она не нужна, полуторку колхозную когда еще на фронт послали.

— Как мы найдем фронт?

— Найдем! Сыздали услышим, где стреляют.

— А когда мы пойдем и куда?

— Перво-наперво в Барабу, пропиталом запасемся и сразу потопаем.

— Маму, Кольша, жалко.

— А бить ей нас не жалко. Сказывать не станем, я на сумке химическим карандашом печатными буквами написал, куда мы ушли.

— Чо ты написал?

— Что нас не ищите, мы к тятю на фронт пошли. Давай чину собирай тоже и айда! — перешел брат на шепот.

— Кольша, Васька! Где вы? — крикнула мама. — Хватит вам болтаться на улке!

А мы уже перелезли прясло пожарного загона и побежали за резиной в колхозную кузницу. Не будь рядом Кольши, я бы заревел. Но теперь я боялся выказать трусость — вот не возьмет меня с собой на фронт, и я тятю не увижу, и в школу никак нельзя идти...

Кольша тихонько вытянул лепень резины и спрятал за пазухой.

— Рогаток, Васька, много выйдет, резина больно хорошая, — похвалился брат. — Теперь огородами давай выбираться на поскотину. Улкой не побежим, попадать на глаза никому не надо.

Осенью по огородам, когда выкопают картошку и уберут овощи, даже днем можно пробежать, а в потемках и вовсе никому дела нет, кто треснул пряслом или зашуршал подсохшим картовником. Поэтому мы с братом не прислушиваемся и не озираемся на избы, топаем напрямик. За последним огородом Петра Петровича Мальгина тянется вдоль берега Большого озера полоска колхозной капусты. Кольша не удержался, свернул тугой, скрипучий вилок. А как выбрались на дорогу, стало легко и ничуть не боязно. Волки, тятю говаривал, охотников за версту обходят, мы же сызмальства пропахли порохом возле него.

— Разинет завтра Ефимка рот, — рассуждает Кольша, хрумкая капустой. — Сам-то ворюга так ворюга! Ногу-то, думаешь, где он изувечил? А в яму к Михаилу Партизану лазил по сметану. И как удирал от дедушки, угодил в старый колодец, вот и хромает. Бабушка сказывала: кто ворует, тот пуще всех на других орет. Ничего, попадетсЯ Ефимка еще не раз на воровстве. А мы чо, мы ничего не украли, мы на войну пошли.

Я тоже ем капусту и бегу рядом с Кольшей, слушаю его и радуюсь: добро, что есть старший брат, куда бы я без него? Сестра Нюрка дома, на улку боится высунуться, а Кольша вон какой смелый и дорогу на фронт знает. Ночью-ноченская, а он ведет меня с собой и не трусит...

Вот Юровку не слышать, не видать — миновали поскотину и леса по обе стороны дороги. Кончились они — впереди деревня Брюхово, озеро справа шумит волнами о песчаный берег. По деревне пошли, и лишь одна собачонка тявкнула, ни души на улице. А от выселки Травянки лесная дорога и мне знакома: сколько раз ездили из Барабы в гости к бабушке, пока не переехали в Юровку. Кто-то вон сшумел в кустах слева, и я к брату шарахнулся, а он и не вздрогнул:

— Заяц, Васька, сиганул. Жалко, что ночь и рогатки не изладили. А то бы на дорожку мяса раздобыли.

К утру вышли на угор и отдохнули у ветряной мельницы на виду у Барабы. Доели чину и стали решать, к кому из ребят зайдем? К Алексе Волежанину нельзя, проболтается. У Вальки Важенина какой хлеб! Отец лесничим работал, а не в колхозе. Кольша выбрал Миньку Суровцева, и мы стали спускаться с угора в улицу села. Минька был один дома, мать рано ушла на ферму. Кольша о чем-то шептался с ним, будто кто-то мог подслушать. Потом Минька накормил нас яичницей с теплыми калачами, выставил



по кринке молока. Покуда мы ели, он принес новое ведро и положил на дно лепешек, на них калачи, а поверх толстую ковригу. Дал и соли, и коробок спичек.

Минька попрощался и побежал в школу, а мы опять знакомой дорогой двинулись на Уксянку — районное село. Посидели на перилах моста через речушку Богатая. Мост за два года перед войной вместе с мужиками строил наш тятя, и мы часто прибегали сюда поесть у костра

«полевского супу». «Цел мост!» — так и скажем тятя, когда встретим его на войне.

Перед селом Любимово Кольша повернул вправо на увалы. Он считал, что селом идти опасно, примут за бродяг и отведут в милицию. Она тут близко. Меж Любимово и Уксянкой никакого разрыва нет, как есть одно село. На увалах за логом наткнулись на целое поле неубранного мака. Дух захватило у нас, ни разу не видели столько спелого мака! И никто его не охранял.

Мы до отвала наелись мака, набили карманы и выбрались на межу. Солнце пригревало, как летом, и тепло разморило нас. Кольша и начал зевать:

— Эх, поспать бы, Васька!

— Эвон зароды сена, пошли туда! — кивнул я брату.

Когда проснулись, высунулись из норы в заросле, на улице было темно. Неужто снова ночь? Остаться у зародов не стали; снова увалом побрели искать дорогу из Уксянки на выселку Десятилетку. Ниже нас по берегам речки Барневки горели огни, лаяли собаки и доносились голоса людей. Людей мы боялись пуще всего. Они могут помешать нам уйти на фронт, могут вернуть нас в Юровку, где сейчас-то обязательно считают ворами Кольшу и меня, а Витьку увезли в тюрьму отбывать принудилровку.

Что уже совсем поздно, догадались по Кичигам¹ на небе, — тятя с мамой всегда по ним узнавали время. Мы попали в тополя и среди площадки нашли какое-то возвышение из досок. Ведро с хлебом поставили внизу, а сами по ступенькам забрались наверх. Спали недолго, нас затрясло от холода, и мы пошли в село искать теплое место. Увидали низенький огонек в пристройке у длинного дома, и брат начал искать скобку у двери. Она неожиданно открылась, и мы увидали у красной от жары железной печи старика с костылем.

— Дедушка, можно погреться? — пролепетали мы из-за порога.

— А чего не можно! Заходите, да дверь-то прикройте. Откуля, добры молодцы?

— К тятя идем.

— А где он будет?

— В Десятилетке... — пробормотал Кольша и пристроился на полу у печки рядом со мной.

Старик еще что-то спросил, но ни я, ни Кольша ему не ответили.

¹ К и ч и г и — созвездие Орион.

— Подымайтесь, ребята! — растряс он нас на рас-свете. — Сторож я, раймаг охраняю, и посторонних не велено пускать. Покуда никто не увидал, топайте к отцу. Светло уж!

На улице сон ободрало и захотелось поесть. А где же ведро с хлебом? Кольша припомнил тополя, и мы мимо здоровенной церкви побежали к ним. На травянистой площадке валялось опрокинутое ведро, а калачи и ковригу ели коровы. Брат ухватил тополиный сучок и с ревом кинулся на корову с ковригой. Она бросила ее, и Кольша успел огреть черную обжору лишь по задней холке. Может, мы бы еще отбили у коров обедки Минькиных калачей, но появились откуда-то бабы и закричали на нас, помянули слово «воры» и «бродяжки», и мы бросились бежать из тополин на бугор к старой ферме. Бог с ним, с хлебом, ведром и спичками, хоть бы ноги унести.

По-за кладбищу у запруды мы обогнули ненавистную Уксянку и не решились спуститься с увалов в соседнюю деревню Брюхановка. Сейчас-то мы точно знали — людей надо избегать, пока не придем на фронт. За Брюхановкой Кольша помнил дорогу на выселку Десятилетка и вывел меня на нее через необмолоченную пшеницу.

Обжеванную ковригу съели раньше и заглушали голод зерном из колосков. Кольша утешал меня, что скоро покажется озеро Зеленое, за ним — Сосновое, а там и выселка близко. Там у дяди Андрея — троюродного тятиного брата, наедемся, отдохнем и дальше двинем.

Занялись колосками и не успевали, как прямо на нас выехали на вороном жеребце мужчина и женщина. Она что-то вполголоса сказала ему, и он засмеялся. Бежать нам было некуда, да и поздно, что-то будет с нами...

— Куда мальчишки путь держат? — улыбаясь, спросила она.

— К тятю, — буркнул Кольша и исподлобья уставился на нее.

— Понятно, — согласилась она, поискала правой рукой в ходке и протянула нам булку. — Ну, ну, не робейте, ребята! До тяти вам еще далеко, вы же голодные, по глазам видно!

— И по колоскам! — подхватил мужчина. — Берите, хлопцы!

— Спасибо! — всхлипнули мы разом.

Кольша прижал булку к лопотине, а ходок весело прокатил дорогой на Уксянку.

Боялись мы с ним людей, три села обошли увалами, а вот незнакомые же люди накормили нас. И вовсе не пытались изловить, не считали за воров и бродяг.

В Десятилетку вошли тоже затемно, а пока было светло, побывали по соседству у Зарослого озера, где часто рыбачил и охотился наш тятя. А как его обойти, вдруг тятя спросит про Зарослое, а мы и слова не скажем о нем.

— К дяде Андрею не пойдем, Васька. Все одно его нет, на войне он, а тетка Настасья, поди, знает, чо случилось с нами в Юровке, — сказал брат. — Никак нам нельзя появляться у нее, не бывать тогда у тяти.

Кольша вовсе не собирался отказываться от похода. И спать мы с ним устроились не у тетки Настасьи в тепле, а у них в стожке сена на огороде. К утру и в сене пробрало нас и пришлось вылезать из стожка. Все вокруг сбелело от инея, отава на огородной меже с хрустом ломалась, когда мы выбирались к большой дороге из огорода.

— Неправильно, Васька, мы на фронт дорогу выбрали. Сегодня на Юровку двинем, под Морозовой обогнем ее и на Пески. У дяди Василья погостим и — на станцию в Далматово. На паровозе поедем. А то пока пешком идем — война-то и кончится, с тятей разойдемся, — ободрял меня брат.

А сам он тоже дрожал, как и я, никакой бег нас не согревал. Вот если бы не коровы, были бы спички, и долго ли костер распалить, лесу у нас полно, одного тальника не истопить всей Юровке...

— Ага, Кольша, — соглашался я с братом, хотя мне страсть хотелось домой. Пускай мама отлупит, пускай орет Ефимка и зовет ворами — все равно домой. Поди, не больно и поверят ему, будто мы обворовали школу...

Дорога от Десятилетки до Юровки хожена нами не раз и потому ближе кажется. Вот Большое болото со степью позади, за лесами слева Трохалевская степь показалась, а за ней и само болото Трохалево. Вон и урочище Штат — это еще со старых времен называют увал Штатом, где лучшую пашню отводили макарьевскому полу. Влево с дороги у росстани культурный стан бригады, на полях ее дядя Андрей, родной тятин брат, трактористом работает. У него надо было нам спросить, как скорее к тятю попасть, он бы маме не рассказал...

На повороте к стану мы увидали подводу, а спрятаться нам некуда — у осинника трактор, влево у стана и вовсе народу полно. Люди все наши, юровские, придется идти вперед, некуда деваться.

Еле-еле брели мы с Кольшей к подводе. Меня морозило и тошнило, брат тоже пошатывался из стороны в сторону. И хотя не дошли до подводы, узнали, кто сидит на телеге — дядя Андрей и... моя учительница Таисья Сергеевна. «Как они узнали, что мы сюда придем?» — мелькнуло у меня, но почему-то не испугало, и разгадывать тоже не захотелось. Дядя с учительницей на телеге, казалось мне, были не на дороге, а висели в воздухе, каким он бывает по весеннему испарению.

— Эй, вояки, шевелись! Варвара-то с ума сходит из-за вас, и вот она, Таисья Сергеевна...

Дядя Андрей недоговорил: учительница спрыгнула с телеги нам навстречу, схватила нас обоих на руки и... заплакала. А у меня еще пуще закружилось все в глазах, и я успел подумать: «Вовсе и не злобедная у нас Таисья Сергеевна...»

Весь мокрый, как в бане на полке, очнулся я и долго думал, где я? Вроде дома на полатах, и Кольша рядом лежит и турусит во сне. В избе кто-то есть. Вот фельдшер наша Лена Абросимова сказала:

— Не волнуйтесь, тетя Варя, поправятся ваши бойцы! Уж вы их, пожалуйста, не браните!

— В школе им никто и словечка не скажет! — это Таисья Сергеевна воскликнула.

— Вон как я прошусь на фронт, и меня не пускают. Оказывается, вояки сами должны бежать! И бегут, только по кругу! — смеется дядя Андрей. — Да и где бы они на такой громадной войне нашли Ивана?

— И не дай бог им узнать дорогу на войну, — печально вздыхает бабушка. — Не дай бог...

НОЧНЫЕ ТОНИ

Озеро безлунной ночью угадывается легким пошлепыванием волн о песочно-крутой восточный берег, будто и впотьмах девчонки стряпают песочные лепешки-калабашки и, подражая матерям, пришлепывают их мокрыми ладошками. А как ближе подойдешь — потянет щелоком теплой воды, возбуждающим запахом живой рыбы: свежее-золотистыми и опрятными карасями Маленького озера, а не тинно-илистыми, как на Большом. Учуеть странно-огуречный дух озерной травы: рогоза, крестовника и метлистого тростника.

Большое озеро пугает нас почему-то. Даже и днем боязно бродить с бредешком на мелководе у лодочного притона или ставить и смотреть манишки в прорезях выбуче-пупырливой лавы.

Уловисто Большое озеро! И ни разу не усыхало, рассказывают, как Маленькое. Зато и жуткое темнотой буровой воды, одиноким островком с рогатыми сушинами из тальникового куста, где с весны начинает стонать-бухать никем в Юровке не виденная птица-выпь.

А после того как дяде Даниле, родному брату покойного деда по отцу, померещилась «баба, в зеленой чешуе вся, как будто на тело налипли листья водокраса-лягушатника», мы и вовсе обходили озеро стороной, если доводилось летней ночью возвращаться поскотиной с дальних еланок и пустошей Юровского поля, куда манила нас клубника и черная смородина. Приходилось возвращаться Моховым болотом. Никакого мха там и в помине нету: космато заросшие осокой кочки да всего-то три плёсинки чистой воды на месте выгоревшего когда-то торфа. Но за болотом хранится бывшее название, и останется оно Моховым навсегда.

...Маленькое же озеро уютно тем, что округ него жилые дома с огородами и пристройками, поодаль приземистодлинные коровники, свинарники, овчарники и курятники. Даже в глухую пору нет-нет и пилигнет багровым зрачком огонек лампы в чьем-то окошке, или сторож выберется на улку из избышки с фонарем и, раскачивая светлячок, заковыляет поглядеть: все ли ладно у коров или овец, не прорылись ли опять волки через соломенную крышу?! И ты не одинок, и тебе веселее...

Но по правде сказать, страшно в одиночку очутиться и на берегу Маленького озера. В углу озера, откуда берегом начинаются сады — тополя, ветлы, березы и черемуха, — потонула перед войной средняя дочь дяди Левонтия, длинноногая Лизка. Тот угол самый глубокий: когда после гражданской войны озеро ушло однажды ночью, как сквозь землю провалилось, копали и возили юровчане песок на дорогу-большак. Вот и остались там ямы — мужиков с ручками скрывало.

Но не столь мы утопленницы боялись. Самое страшное случилось весной сорок второго года, когда приехал после операции на глазах дядя Федор, не взятый на фронт по худому зрению. Он-то и сманил брата Кольшу и меня на озеро. Вода еще была студеным-студена, а рыба дуром

валила к берегам, и сети можно легко поставить бродком.

— Чего зря Ивановым сетям гнить в чулане, — уговаривал он маму отпустить нас с ним. — Эвон карась пошел с глуби — вода всю ноченьку кипит! Да вся рыба как на базаре — караси фунтовые. Дядя Данило на днях выхватил из прясла жердь и полста штук оглушил. Во какие карасины! Мне-то стужаться нельзя, токо из больницы выписан. Я огнище разведу, вот и греться робята станут, ну и светло будет. Как, Варвара, а?

— Чо как?! Пушай собираются. Наловите рыбы — смотришь, еда будет добрая. И посушить и посолить впрок можно. А то и обменять на что-нибудь у людей. У нас и у свекрови по сусекам мышке нечего на зубок выколопнуть из щелки. Да и ты, Федор, с собой увезешь в город, Василису с девочками покормишь. Поди, измерли они без тебя на одном пайке.

Кольша выволок мешок с сетями из чулана, дядя Федор взвалил его на загорбок, и мы в сумерках остановились на берегу за крайним домом — сливкоотделением молоко-завода. Тут нет вблизи построек и не опасно с огнем, тут и люди не ходят, как стемнеет. И рыбнее места не найдешь: карасей тянет к проточной канаве, прокопанной всем миром от Большого озера, чтоб держать воду в Маленьком.

У фермы, где всегда старики тешутся топорами — то бревна или слегы рубят, то обновляют загоны, — мы живо набрали сухих щеп, бросовых обломков от жердей и кольев. А дядя Федор наволок чурбаков. Лишь костер высветил воду, мы вытащили сети из мешка, и дядя Федор выбрал годные. С дырами, изъеденные мормышем еще при тятиной рыбалке, он сразу забраковал.

Мы разулись с Кольшей и, не мешкая, забрели прямо в штанах и лопотинешках. «Теплее в одежде-то, а ее у огнища опосля высушите», — сказал дядя Федор.

Сперва, натужившись, воткнули тычки, а потом начали расправлять сети. Кольша привязывал поводки к тычкам и разбирал сеть, а я постепенно отступал на ее длину, держа сеть в руках на весу. Он и старше меня на два года, и успел натереть возле тяти до войны.

Дрожь трясла меня, но я терпел, ведь и Кольше ничуть не теплее, он еще и сеть распутывает. Вон до плеч вымочил рукава, макая-утопляя сеть в воду. О холоде помогла забыть сама рыба. Караси и верно сдурели: мы наступали на них ногами, они тупорыло тыкались в икры ног — до того тесно им было в озере!

Не успели отойти от тычки до тычки, как первые берестяные поплавки заподрагивали в воде, а потом и вся сеть заходила ходуном, словно вдруг ожила или озябла вместе с нами и потому рвется из озера. Тогда Кольша остаток сети забирал себе, а я в подол рубахи выпутывал из ячей смиренных ночью крупных карасей.

Наконец сети расставлены, а рыбы натаскали уже полный мешок. Скулы ломит от непрерывного цоканья зубов, и ноги давит-загибает судорога. Дядя Федор заставляет нас обогреться-обсушиться у огнища. Мы окутываемся выше головы паром и не чувствуем долго, жарко ли горит костер или только тлеет. А когда лишняя вода выпаривается, штаны припекаются жаром к телу и унимается надоевшая дрожь. В самом деле, как дома на печи сидишь!

Что времени далеко за полночь — видно по звездам. Вокруг тихо-тихо, ни живой души, все уснули-успокоились. Не брякнет, не стукнет дверь — по воде любой звук так доносится, как будто рядышком, — не стагают хозяйские гуси, не взмыкнет по воле корова и не слышать простуженного «кашля» овечек. Уж и коты устали пугать друг дружку диким воем — надрались, видно, досыта. Одни мы не спим, обсыхаем, чтоб после махом снять сети вместе с уловом и дома выбрать карасей.

Стало клонить всех троих ко сну, как мы с Кольшей чутко почуяли морозной кожей под одеждой чьи-то острые шаги. Кто-то босиком крался к огнищу. Очнулся и дядя Федор, подкинул в костер коры с берестой и пылко-сухой щепы. Пламя замешкалось на доли секунды, а как оправилось — гулко полыхнуло таким горячим «хвостом», что мы невольно отпрянули в тень. И тут же на свет выступила босоногая и простоволосая женщина.

Мы с Кольшей сразу признали в ней старшую дочь бабушки Лёвишны...

Анна у Лёвишны красивая, не чета младшей Дуньке, которой правился наш дядя Ваня. А тот или не замечал ее, или в глаза посмеивался над ней. Дунька и этому бывала рада, без дяди Вани смелела у нас в избе, брала балалайку с полатей и гнула-пела:

Милой Ваня строил баню,
Я колодец строила.
Неужели, милый Ваня,
Я тебя не стоила?

И остальные частушки у Дуньки были все про Ваню и про себя. А напевшись под балалайку, она упрашивала маму помочь ей чем-нибудь присушить Ваню, да чтоб он женился на ней:

— Я ведь, тетка Варвара, работной бабой стану. За себя и за мужика все управлю, и тебе еще подсоблю. И робятишек здоровых нарожаю, сколь Ване захочется. Токо бы мне его присушить, отлучить его от макарьевских девок. Гли-ко, они в девках истрепались, по рукам, да по рукам у шарней! Какие уж из них жены...

Анна баская и не нуждалась в присухах. Ее с вечерок провожал только один парень — здоровенный тракторист Афоня Мальгин, закадычный друг дяди Вани, любивший почему-то и нас, ребятишек. Его, Афоню, на людях, как бабы своих мужей, когда их всех вместе провожали на войну, обхватила Анна руками за шею и громче-протяжнее всех баб завывала. Дивно и жутко показалось всем, кто хоть мало-мальски тогда примечал вокруг себя. Старухи осудительно заперешептывались меж собой:

— Не к добру, не к добру так-то воет Анна по Афоньше... Шибче его матери убивается, а вон какой молодец! Улыбается да постаре себя мужиков утешает. А она как по убитому причитает-воет...

Чуяли что-то сердцем старые, изведавшие на своем веку не одну войну. И на добровольца Афоню недавно пришла похоронная. На самого первого из холостых парней. И опять так она завывала — водой студеной едва отлили... Случись что с дядей Ваней, а он тоже сейчас воет, небось Дунька тихонько взревет да и за балалайку, поди, ухватится.

Такие речи велись у нас в доме, когда в Юровке прознали, будто бы тронулась Анна умом, и теперь ее надо остерегаться. Все жалели ее, хотя в каждой избе полно и своего горя. Похоронные начали сыпаться на село, как черный снег. И кто мог знать, кого выберет завтра письмотреугольник с войны... Однако наши матери забывали о себе, и чужое горе не было для них чужим...

«Анна... Сумасшедшая...» — в страхе переглянулись мы с Кольшей и придвинулись теснее к дяде Федору.

— Вы это что, — забормотал он.

Дядя Федор промокнул красные глаза белой тряпочкой, долго моргал-щурился и не понимал ничего, хотя и услышал, что кто-то подошел. «Анна... Лёвишнина», — шевельнул губами Кольша, и дядя Федор понял наш испуг.



Спокойно, как будто сидел на лавке в избе, а не здесь у костра и словно та была нормальная, пригласил ее:

— Анна, подходи, подходи к огнищу, погрейся с нами!

Анна послушно тронулась с места и пошла прямо на костер.

Глаза у нее вспыхнули искрами, легкие волосы ниже поясицы вот-вот коснутся пламени и... что, что будет-то...

Мы вспомнили опасливые разговоры взрослых юровчан,

что у сумасшедших столько силы — людям ее не обороть, а можно лишь врасплох связать толстыми веревками, свистыми из конопли. И того пуще приросли к бокам дяди. Однако Анна не ступила в костер, и распущенные волосы не загорелись. Протянутыми руками она наткнулась на огонь, они дрогнули и опустились. И тут она впиалась глазами в дядю Федора и захохотала с прикриком:

— А ты не мой Афоня! Какой ты Афоня! Он у меня пашенку пашет. Афоня-я-я!..

С хохотом и воем Анна отвернулась круто от огня и метнулась в сторону.

— Афоня! — застонало над озером и... стихло.

Мы зажмурились с Кольшей, и, когда открыли веки, возле огнища никого не оказалось. А дядя Федор трясся и шепотом быстро приказал:

— Айдайте в озеро! Живо сымайте сети и домой, домой!

Анну назавтра изловили: нашли ее спящую на пашне у первого леска, связали веревками да с воем безумным увезли на подводе в Далматово, а оттуда в Пермь, в «Желтый дом», из которого, по словам бабушки, отродясь никто из тронутых обратно не возвращался...

...С той ночи минуло еще две военных весны, мы с Кольшей подросли и уже одни не раз ночевали в лесу на охоте. Но Анна не забывалась, и мы пугали ребят помладше, вспоминая ненароком о ночной рыбалке. И как тогда ночью, часто ходили с бреднем из старых половиков на ночные тони. Рыбалка спасала нас от голода, а днем с нашей снастью тряпичной нечего было надеяться на улов. Карась уж и не настолько дурной, чтобы попадать засветло к нам в бредешок. Сколь ни пытались — ни одно рыбное руно не смогли захватить днем. Кажется, оно у нас в мотне, карасям деваться некуда из кольца недотки¹, а вытацим на берег — купоросно-зеленая тина и кожано-черные пиявки...

Зато чем темнее и темнее да позже, тем тяжелее улов: зараз вытряхиваем из мотни по два ведра карасей. На глубь уходит Кольша, а я или сестра Нюрка — ближе к берегу. Иной ночью друг дружку не видеть, лишь чувствуешь потяги брата и слышно, как пускают пузыри вздувшиеся на спине рубахи. И больше ни единого звука.

Корзину и ведро с рыбой поочередно таскают берегом мама или сестра. Если мама не стирает ночью в детдомов-

ской прачечной. Ну и дружки ходят с нами на ночные тони — одногодок брату Осяга или заморыш, как и я, соседский Ванька Парасковийин.

Сегодня нет мамы — уехала с ночевкой косить сено для детдомовских быков, Нюрка с бабушкой днем пасли коров, а дружков послали к болоту Трохалево вместо захворавшего деда Онисима караулить жеребят. Мы одни с Кольшей и могли бы не идти, да ведь не пропускать же ночь, если карась заходил озером рунами?! Одна ночь может долго прокормить нас четверых, бабушку и семьи дружков. Их нету, но пай мы все равно выделим завтра утром. Как и дружки делятся с нами всем, что годится в пищу, раздобытым ими без нас.

Ночь теплая, и впору бы нагисом рыбачить, да заедят в кровь комары. А пока мы сидим с Кольшей на берегу у колхозных амбаров и вострим уши — стараемся услышать, где закипит-заплещется руно очумелых карасей. Мне охота спросить брата, о чем он думает, но на рыбалке, как и на охоте, надо помалкивать. И на фронте, наверное, тоже нужно поменьше разговаривать вслух?..

ЖУРАВЛИНЫЕ КОРНИ

Тоскливо одному в избе и пуще того есть охота. А за-слонку в печи и шевелить нечего: мама поставила кринку простокваши на творог. И чугунок на шестке пустой, остат-ки «трахмального» киселя я насухо выскреб.

Чего делать, куда пойти промышлять?

Вороны и сороки яички свои давно запарили, сушеную картошку собирать боязно — всходы уже проклюнули и зеленым дымом окутали пашню. Если по водопойнице про-гонял нас оттуда хромой бригадир Сано Кочненко и от-бирал ведра с мерзлой картошкой, то сейчас живо потащит в сельсовет.

Чего делать? Кольша с Нюркой в Пески ушли, дяде Василью дрова пилить. Поди, только завтра и воротятся домой...

И тут с заулка в окно бабушка побрякала и поманила меня за ограду.

Выскочил я на крылечко и махом через заплот пере-прыгнул. Обрадовался. Бабушка чего-то скажет.

— Что закручинился, Васько? Айда-ко на угор за про-питалом, — притянула она меня к себе.

¹ Недотка — бредень из грубой и редкой холстины.

— За каким, бабушка? Чо в лесу-то найдем? Кислетка не отросла, пиканов нету.

— А знаешь, что я надумала? Журавлиные корни испробовать на еду.

— Какие журавлиные корни?

— Дак я же показывала их тебе. Спомли-ко? Стебли-то тебе до пупа, с одной стороны листочки гребешком, такие сизоватые. А низом цветочки мелкие, бело-зеленые. Купенной правильно зовется. Ею, Васько, сколь людей лечила я. Ну, ревматизму, грыжу, поясницу и ишшо кое-что. А те-перя ее на пищу бы попробовать.

— Счас, счас, бабушка! — кинулся я через заплот. В чулане взял корзинку, закрыл сени изнутри на жердь-запорину и был готов идти с бабушкой хоть куда.

...Май обсушил и обогрел землю, из нее процищнулась и резво пошла в рост всякая трава. Расправлял-разглаживал мягкие морщины на первых лопушинах репей, фиолетовые ростки крапивы притворялись нежалючими, а щепотки полыни сразу заявляли о себе горьковатым духом. Уже не кололо босые ноги, подошвы ласкал загустевший конотоп — удивительно терпеливая и выносливая травка.

Спустились мы в подгорку к речке и бродком перешли на левый берег.

Крутишка врезалась в тальниковые берега, но текла довольно хлестко, на поворотах и по намывам-запрудам сердито пошумливала, вертела-буравила свеженачатые в половодье ямины и омутки. Вода там была мутно-коричневой, выкруживала со дна ил и песок, отсеивала к берегам галечки и зернинки песка. Сюда же попадали посудные черепки, извитые раковинки и бледно-синие лепешки съедобной глины — «каменного масла».

Покуда бабушка оттирала ноги — вода студеная, и на суше у нее заломило суставы, — я копнул живой ворох песка, выудил плоские лепешки и тут же сунул в рот.

— Лампасейками угощаешься, — заметила бабушка. — Поешь, поешь на здоровье... Поискать бы чертовы пальцы. Из Степахиного ложка их кажну вешну намывает. Да некогда сѣдни, журавлиные-то корни копать да рыть надо.

Пересекли луговину, пока зыбко-сырую; пробрели болотинку, с шубный лепень, где воды было уже тонко, и она, теплая, загустела закисавшей зеленью.

За розовой красноталиной выбрался на дорогу и поднялся по ней на угор. Дорога не углажена, не укатана, и комочки сохлой грязи больно потыкивали необыкшие



подошвы. А уж за лето кожа до того задубеет — боярка не страшна. Ступишь в траве на сухие ветки, и только иголки захрустят. Нет, не проколоть им тогда наши подошвы. А сейчас на шиповник угоди — и то насадишь занозок. Потом после бани ковыряй их хомутной иголкой...

Но некогда оберегать ноги. Бабушка вон свернула с дороги под березы и осины, бумажно зашуршали пересохшие листья. Я побежал к ней и спугнул из вишняка за-

дремавшую пташку-овсянку. Она с перепугу пискнула и шлепнула белую капельку на листок медуники. А когда села высоко на сучок и осмелела, стала разглядывать нас с бабушкой.

Мы ползаем на коленках вокруг стеблей купены, разгребая созревшие рыхло-бурые листья и роём землю.

И там не вглубь, а вдоль тянутся узловато-белые, с тонкими ворсинками журавлиные корни.

А за что их журавлиными называли? Ага, вот весь корень целым откопал, и так он похож на длинную ногу журавля. Надо у бабушки спросить...

— Что тут сказать, Васько! Верно ты угадал. А мне моя бабушка говорила: журавли осенью в теплы края улетают, зиму переждать на чужбине. Земля-то родимая у них здесь. И чтоб воротиться весной, не заблудиться им, оставляют оне корни дома. Как прилетают журавли, так и корни оживают. Стебель-то вишь какой! Навроде перо журавлиное с правой стороны, а низом цветочки. Опосля ягоды нальются темно-синие. И как закурлыкают на отлете журавли, осыпаются оне на землю.

Корней в корзинках все больше и больше. На них малы-ми медвежатами налетают шмели, кружат и недовольно ворчат-дундят. А муравьи дружной артелькой берутся за корешок, хотят утащить его обратно в землю. Непонятно им: зачем люди роют журавлиные корни?

— Извозились мы с тобой, Васько, — смеется бабушка, когда снова переходим бродом речку. — Умоемся-ко...

Мы умываемся сами, ополаскиваем и корни. И потом торопимся домой. Уж завтра-то изведем вкус журавлиных корней...

Утром мама парит на вольном жару журавлиные корни. И когда они разбухают и выпирают из ведерного чугуна, мама подхватывает его ухватом и вытаскивает на шесток. Пробует: уварились ли?

— Мягкие. Иди, Васька, чисти и толки в ступке.

Я спрыгиваю с полатей и аккуратно чищу корни. Они вязко-липучие и белые-белые. И что-то знакомое напоминают...

Перед войной тятя привез нам из города две буханки белого хлеба. Ели их в потемках, а в памяти остался светлый мякиш буханок.

Так то был хлеб, а тут корни.

Скоро ли, скоро ли испекутся лепешки?.. Их на два листа хватило.

Брат с сестрой не шибко верили в съедобность лепешек, и мама закликала их, если они начинали подсмеиваться над нами.

Попробовали пышные лепешки: вкусные и сытные. Ели и обжигались, запивали мелкими глотками холодного молока. А я радовался: нашли мы с бабушкой пропитание, не замрем до ягод и груздей.

Но скоро после застолья всех нас слихотило и стало рвать. Я ползал у кладовки, стонал и харкался. Мама отпаивала нас молоком и твердила:

— Испробовали — и ладно. Живые — и ладно. А корни-то жабрея вредней.

Полегчало мне, и я прямо огородами побежал к бабушке. Она, бледная и вялая, лежала на нижнем голбце. Я слезал в яму за молоком, стал отпаивать бабушку.

— Охо-хо... — постанывала она. — Ревматизму, грыжу и поясницу лечила я купеней-то, а от голоду не годна она, Васько. Ядовита она. Дак испробовать охота было...

— Ничо, ничо, баушка, скоро кобыляк отрастет, кислетка и пиканы вырастут. Не замрем, правда?

— Не замрем, Васько, — приподнялась на голбце бабушка и так хорошо улыбнулась мне глазами и всеми морщинами. — А знаешь, что я ишшо надумала испробовать, а? Токо мотри, никому не говори...

Милая, милая моя покойная бабушка, Лукия Григорьевна... Как вовремя пришла на ум мне твоя просьба, а то уж с языка вот-вот и сорвалось бы, чего мы еще пробовали с тобой, какое «лекарство» искали. И не от хвори. Как-то и не хворалось нам тогда. А от голода. И нашли, не замерли...

А все же не забываются мне журавлиные корни. Вспоминаю, когда хожу лесами и вижу похожую чем-то на ландыш купену... И часто-часто моргаю, когда сентябрьское небо окликает меня журавлиными голосами. Они расстаются с родиной, а корни их остаются здесь. И мои корни тут же, где стала пухом бабушке родимая земля.

ХЛЕБУШКО

Держу в руке булку хлеба и невольно думаю о тех, кто бросил ее у дороги. Мне бы не раздумывать, а радоваться булке. Отощал мой рюкзак, остались в его нутре котелок, кружка да ложка и — ни хлебной крохи. А волок до села

еще долго отмерять тяжелым шагом. И нате, подфартило... Только почему-то неловко мне, будто сам в чем-то провинился перед булкой, заляпанной грязью от колес лхой машины?

С вечера посулилась бабушка взять меня за груздями. И сон мой оттого был коротким. Еле дождался, когда мама вытащила из печи железный лист и осторожно отковырнула скорбно-зеленые лепешки из кобыляка. Паек мы давно съели, и нечем было припорошить их — «омануть брюхо», как посмеивалась иногда бабушка.

Пересчитала мама лепешки, вздохнула и отделила мне на две больше, чем брату, сестре и себе.

— Весь и пропитал тебе, сынок, — молвила она и сложила их в корзину.

Дыры на дне ее застелил я листками репейника. Лишней тряпки в доме у нас не водилось. Бумаги и подавно не было: на дне старого сундука хранились лишь отцовские письма с фронта. А в лесу мама наказала содрать ножиком-квашенником берестину, тогда и грузди не выпадут из корзины.

Когда бабушка выгнала костистую корову Зорьку в пастушню и показалась в заулке, я уже высматривал ее с заплота.

— В сборе, Васько, — улыбнулась она и качнула головой желто-серому бульдожке Джеку, который ткнулся широкой мордой в мою корзину. — Ишь, варнак! Чует свежий-то хлебушко, чует... Пойдем, Васько, к Отищеву. Там в березовом бельнике отцовском шибко ядрены сухие грузди. А на кромках-то какие растут! Крепыши, как есть крепыши!.. И до чо сладкие корешки-то с голубеньким ободком, — ворковала Лукия Григорьевна дорогой. — А ежели сухих не доберем, у Королят в гряде сырых груздочков найщем. К Трохалеву за обабками подвернем. Баешь, посуды мало? Дак запон-то на что? И в подол сколь можно уложить.

Версты три прошли, и тут глянул я в свою корзину. Глянул и... обмер. Ни единой лепешки не было в ней. Лопушки стряслись, и попадали лепешки через дыры.

Бабушка обернулась ко мне, почуяла неладное. Вот-вот и разревусь. Отговорил бабушку не брать с собой еды, моих лепешек на двоих хватит...

— Ты чо, Васько, уже не захворал ли? — встревожилась она.



— Ле-ле-лепешки-то, бабушка, потерял...

— Ну да не реви, не реви, Васько. Поди, найдем же мы их. Ни души следом за нами не видеть, — приласкала она меня по лопаткам-крыльцам.

Повернули обратно к деревне. Но сколько ни искали — не нашли. Наклонимся к дороге, возьмем в руки зеленые лепешки, а они окажутся засохшими коровьими «шаньгами».

— Что поделаешь, внучек. Придется без хлебушка идти по грузди. Солнышко вздымается, а нам далеко шагаты. А Варваре-то я ничего не скажу. Ладно? — успокаивала бабушка.

— Пошли, бабушка, — вытер я слезы и выкинул вялые лопушины.

...В Отищевском ельнике мы и верно натешились сухими груздями, насытились звонко-хрупкими и сладкими корешками «корепанов». Они росли на солнечных опушках и трескались от ядрености своей.

— Лес-то, батюшко, завсегда нас напичкает. Летом по-топаешь, а зимой полопаешь, — веселилась бабушка.

Солнце только поднялось выше лесов, а и корзины, и бабушкин запон, и даже моя заплатанная рубаха — все было с верхом наполнено груздями. Их и не убыло после нас. Они белели и там и сям, шаловливо ухмылялись из-под прелых листьев и мшистых полушалков, бугрили землю вокруг старых берез.

— Ох, окоянные, чо они и куды высыпались! — ахала бабушка.

Она аккуратно срезала грузди, вспоминала всякие прибаутки и напевала старинные песни...

— А теперича домой, Васько! — поднялась бабушка после нашего привала у колодца под красноталиной.

...Возвращались мы другой дорогой. И когда тропка вильнула к желтой ржи на берегу Мохового болота, присели передохнуть. Покойно и славно было нам тут на пригреве. Совсем близко хлопотал-выкрикивал перепел: «Жать пора, жать пора...» И добавлял уже тише: «Рожь густа, рожь густа...»

От нее тянуло хлебным запахом, и мы не утерпели — сорвали по колоску. Колосок щекотал мне ладошки, как живой карабкался по руке. А когда размяли колоски — долго не могли взять в рот теплые и мягкие зерна.

— На кашу бы колосков-то, — заикнулся я, но бабушка тут же замахала руками:

— Что ты, что ты, внучек! Углядит кто — беды не миновать.

Видно, есть какое-то чутье у старых людей. Не успели подняться с обочины, как загремели за тальником дрожки и перед нами оказался бригадир Сано, или, как его за глаза называли, — Лужена Глотка.

— Чо, рожь воруете? А ну высыпай грузди! — заорал он на нас.

— Почто ты напраслину возводишь, Олександр Ефимович, — растерялась бабушка. — Да нешто злодеи мы с внучком-то?

Знал ведь Сано большееротый: Лукия Григорьевна и на восьмом десятке лет все еще работает в колхозе, и три сына ее воюют на фронте. Но приставили его к должности — никого не падал. Бабушка с жалостью вывалила грузди из корзины и рубашки, развязала и запон.

— А карманов-то у нас нет, — развела она руками.

— Но-но, смотрите у меня! — пристращал он, и снова загремели дрожки.

Сано угнал так же быстро, как и появился. Кажется, не видел я его пустых глаз на мясистом корявом лице.

— Исповедались, Васько, — печально вздохнула бабушка и начала собирать грузди. — Ты хоть не вырасти этаким. Запоминай...

Перепел во ржи больше не подавал своего голоса...

Слышишь, бабушка? Не лепешки из кобыляка, а хлебушко нашел, родимая, слышишь?..

Счистил я с булки оспинки земли и огляделся по сторонам. Направо спелилась пшеница, колос к колосу, каждый в четверть. И никто нынче не тронет ее, пшеницу, кроме комбайнов. И никакого мальчика с бабушкой не заставят вываливать на дорогу грузди. Даже в шальную голову не заскочит мысль о досмотре.

Налево низинкой густо зеленел рослый кобыляк. Конечно, сорняк он. С пашен сжили его, а покосы вон затягивает. Но что бы мы ели в войну, если бы не кобыляк? У деревни начисто съедали и за шесть верст к Рассохе за ним ходили, бруснили листья и метелки в мешки.

Морозная дрожь метнулась спиной: здесь, на пыльной дороге капали мои слезы, когда искали с бабушкой хлебушко — дневной пропитал на двоих.

КАК Я УЧИЛ БАБУШКУ

Дядя Ваня, он же лёлко — так у нас называют крестных, женился на моей бывшей учительнице Нине Николаевне. Она приехала к нам в Юровку после института с Волги и многие здешние слова долго не могла понять, да и теперь еще нередко просит дядю Ваню растолковать ей то или иное бабушкино слово. Нина Николаевна не смеется

над речью свекрови, но мне, окончившему восьмой класс средней школы в райцентре, стыдно за бабушку, а заодно и за самого себя.

«Как же научить неграмотную бабушку правильно, по-русски разговаривать?» — часто думал я, однако советоваться с кем-то стеснялся.

И вот, когда дядя Ваня с Ниной Николаевной уехали проводить отпуск у нее на родине, подвернулась ненастная погода. Вёдро, как мы порешили с бабушкой,глазила заведующая избой-читальней Шура Мальгина. Пока я рисовал длинными цветными карандашами карикатуры для колхозной стенгазеты, Шура тренькала на балалайке и пела одну и ту же частушку:

Вот-она посыпала
Погода сыроватая,
Сама белого лица
Любила черноватого...

— Кого, кого ты опять присушила? — Бабушка хитро прищурилась на бойкую рыжую девку, но Шура озорно стрельнула зелеными глазами и отмахнулась;

— А никого, Лукия Григорьевна! Никого! Наши-то кавалеры в солдатах и по фэззо...

— Ну тогда небушко изурочишь, дождя наворожишь, — заметила бабушка.

И верно, в самый разгар сенокоса, когда позарез нужна сухая погода, затянуло небо облаками и заненастило. Подойдет перевала — ливнем льет, в промежутках бусенец матрусит. Земля напилась, не принимала в себя дождь, и все кругом водой взялось.

Куда по такой погоде? Ни в лес, ни на речку ловить щук жерлицами, ни в огород...

Бабушка вязала шерстяные носки Нине Николаевне, а я перебирал книги своей тетушки. Правда, тетей я ее еще ни разу не называл, а все по имени-отчеству, как раньше в школе.

Книги все много раз читаны-перечитаны, ни одной новой нету. И вдруг под тетрадями увидел книгу. Обрадовался вначале, да тут же и огорчился. Не художественная книга, а словарь русского языка. Хотел ее обратно положить, да вспомнил о своем желании научить бабушку правильному русскому языку.

Раскрыл словарь наугад и говорю:

— Бабушка, слушай меня и учись говорить!



— Говорить учиться?! — изумилась она. — Да ты в уме ли, Васько? Девятый десяток живу, и никто мне не баял, будто я говорить не умею.

— Да нет, бабушка, говорить-то ты умеешь, но говоришь неправильно.

— Чего, чего?! — засмеялась она. — Как это неправильно?

— Как? А вот так! Скажи мне слово — интеллигенция.

— Ин-ин... — неуверенно начала повторять она и скороговоркой выговорила: — Интелего!

— Ну и неправильно! — захохотал я и снова уткнулся в книжку. — Скажи — автобус.

— Табус! — не задумываясь, брякнула бабушка.

— Массив — скажи!

— Шшив! — отвечает бабушка.

— Да никакой не шшив, а массив! — сержусь я. — Допустим, массив леса, массив хлеба, поле то есть!

— Эвон что, — не обижается бабушка, продолжая ловко вязать посок. — А по мне, так оно и есть поле. Ну пашня, ну покос, ну увал, ну угор... Правильно?

— Нет, бабушка, не правильно! А скажи, кем работает дядя Ваня?

— В школе этим, этим...

— Военруком! — подсказываю бабушке, и она с облегчением подхватывает:

— Во-во! Им, им и робит!

— Так ты скажи, скажи!

Однако бабушка не повторяет слово военрук, а смеется. И я смеюсь, вспомнив, как шли мы с ягодами из Согры по соседней деревне Макарьевке и знакомая старушка задала Лукии Григорьевне этот же самый вопрос:

— Кем у тебя Ваньша-то робит?

— А индуком в школе! — отозвалась бабушка.

Странное дело: старушка поняла ее и не переспросила...

Помню, в войну жила у бабушки на квартире воспитатель детдома Тамара, так ее бабушка звала не иначе как Самара. Нет, не научить мне, видно, Лукию Григорьевну русскому языку!.. Читаю ей заковыристые слова, а она молчком слушает да посок вяжет.

— Бабушка, да ты повторй их, заучивай! — прошу ее, а она только головой кивает.

— Не русские они, Васько, эти слова-то! — наконец говорит бабушка и серьезно смотрит мне в глаза.

— Как не русские?

— А так. Раз я не могу их выговорить правильно и ты сам по книжке читаешь. Ну, стало быть, и не русские.

— Какие тогда, по-твоему, русские?

— Какие? — Бабушка быстро произносит несколько слов, я ищу, но в словаре их нету.

Я-то их понимаю и знаю, да найти не могу.

— Бабушка, какие же они русские, если в словаре русского языка их нет!

— А чьи же они тогда?

— Ну чьи, наши! — отвечаю я бабушке.

— А раз наши, стало быть, и русские! — твердо говорит она. — Если бы не русские, то разве бы ты их понимал?

И неожиданно:

— Васько! Паужнать время, сбегай-ко в завозню и принеси латку с варенцом.

Я оставляю книгу на столе, вскакиваю с лавки и бегу к двери. Бабушкин заботливый голос настигает меня у порога:

— Набрось на плечи Ваньшин дождевик да не выскакивай на улку нараспашку!

— Нараспашку, — поправляю я бабушку, и она не обижается:

— Ну, ну нараспашку! Думаешь, я и совсем худа на язык.

Пока доставал из погреба горшок варенца с поджаристыми пенками, бабушка застелила столешницу льняной скатертью, положила подовые витушки, поставила деревянную миску, а в ней каждому по узорной деревянной ложке.

— Ох, Васько, совсем я выжилась из ума! — Бабушка всплескивает руками. — Забыла наказать, чтобы и лагунчик с квасом ты заодно захватил...

— Ничего, на той же ноге обернусь! — живо откликаюсь я и снова бегу в завозню.

Мне нравится бабушкин ядреный квас на семиденном меду, с листьями смородины и вишняка.

Потом поочередно мы умываемся из медного рукомойника, утираемся чистым рукотертом и садимся ужинать. Хлебаем варенец с витушками и ведем речь о том, куда пойдем с ней, как перестанет матрусить дождь. Говорим и говорим с бабушкой, говорим понятными для нас словами. Я напрочь забываю, что в тетушкиной книге не отыщутся многие произносимые нами слова: бельник, елань, релки, копанец, ляжина, слизуны, глубяна...

Когда после пажины вспоминаю о книжке, где столько трудных для бабушки слов, мне становится неловко за свою затею — учить ее правильному русскому языку. Она права: ну разве можно в одну, пусть и в толстую книгу поместить все народные слова? Только что мы разговаривали с ней понятными нашими словами. А раз они наши — стало быть, они и русские.

Облазали мы с сыном все потайные места, где за двое суток, бывало, никого не увидишь и не услышишь, кроме птиц и плескания рыб. Однако летний свинолагерь на-мертво занавозил лопушистые омуты речки Крутишки; сухоейное лето, словно солодое коровье стадо, ополо-винило кроткую речушку Ольховочку, и она виновато проглянула мшисто-зеленым дном и бурыми скелетами ольховых коряжин; родниковый Боровляночке «ужал губы» намытый по водополище засолоневший песок.

Чего уж речки, если Максимовская и Замараевская старицы подняли свои берега, и лишь выскочки-чеба-чишки, высверкивая из ускользавшей от них воды, живили сонливое течение. И совестно выбрасывать их на сушу, и муторно снимать с крючка да споласкивать с рук жидкие блестяшки чешуек.

Вышли к реке Исети, куда скатывалась вода с отсыхающих рукавов — стариц и речек, но и она не утешила. Не задирая подолов юбок и платьев, ее бродком пересекали у Загайновского перевоза и старухи и девки. А вдоль реки брел-восьмерил загулявший мужик, пускал по течению застрявшую в голове частушку:

Моя матаня далеко,
А на Исети глыбоко,
Эх-да!
Я разденуся-мырну
Да убегу на Одишу.
Эх-да!

Когда ему попадались горбатые проплешины песчаных отмелей, он старался сплясать и так шлепал ладонями по мокрым штанам, будто бы вдали у села Ячменево бабы на плотках колотили вальками замоченные половики. Мы не теряли из вида мужика-водомера: а вдруг он где-то на самом деле «мырнет» и найдет для нас ямину? Он бы все равно довел нас до глубины, но тут на повороте с косы — цвета осеннего жнивья — голые парни замаха-ли мужику гитарой:

— Эй, дядька-мореход, причаливай свою ладью к нам! Мужик нагнулся и хотел было пропеть очередную частушку, да уразумел, что его неспроста зовут парни, вытащил из кармана штанов свежий огурец и взбурлил

илистое мелководье. Там и застрял он на косе, застрял, вить, надолго.

Побережная дорожка вывернулась на изгибистый обрыв, где река закипала пенными кругами, как уха в мирском котле. Сразу присохли ноги к отгоревшей траве, руки самовольно потянулись к лямкам рюкзаков, и оба выдохнули одновременно:

— Нашли!

Мы сразу поняли: наткнулись на самую глубь, а стало быть, на самое рыбное место. И только скатились под обрыв, как на середине ямины вывалился матерый язь.

Трехколенные удилища не доставали, а прямо-таки рвали из брезентового чехла, впопыхах столкнули банку с червями и еле-еле ухватили ее у самой воды. Вот где заблудилась по крови унаследованная тятиня привычка — рыбачить без чужого глаза.

Живо нацепили вертких, выморенных заранее навозных червей и закинули удочки. Сын под навислый подмытый таловый куст, а я ближе к берегу.

Напротив за лугом тянулось поредевшее село Ячменево — в тополях и черемухе, с шиферными крышами дворов и приземистой, обезглавленной церковью. Лугом белели островки гусиных выводков; паслись телята и гнедая кобыла с резвым жеребенком, носились вперегонки ребятишки в сопровождении черно-кудлатой собачонки. На отложине правого берега щуками темнели перевернутые смоленые лодки.

«Славное местечко?» — спросил я взглядом сына, и он ответил довольной улыбкой.

Отдыхать нам не довелось. У сына поплавок резко пошел наперерез напористой стрежи, а леску моей удочки кто-то отчаянно пробовал «на разрыв». И пошло-поехало... Под «эх» да «ух» вылетали из ямины широкие чебаки и увесистые ельцы, нетерпеливо подстерегали солидные пескари, радужные окуни и желтобрюхие ерши. Недоступные глазу, бились на глубине за червяка самые ловкие, сильные и нахальные. Рыбины и в садке не скрывали характеры: если пескари сразу же глупо смирили и плотно ложились на дно, то чебаки металась и кровенели глазами, подъяздки и ельцы настырно выискивали лазейку, а ерши-слизуны норовили исподтишка подколоть чистотелых одноречан. Только окуни не психовали и не унижали своего достоинства и тех, кто очутился с ними в тесноте садка.

Мы позабыли с сыном о дорожке возле обрыва, размотанной конотоповым половиком еще с далекой старины между селами Замараево и Ячменево. О безлюдье нечего и думать: мостом-временкой задробили колеса конной подводы, а ей навстречу газанул мотоциклист в красной каске. Он, конечно, не приметил нас, а мужчина на телеге перед обрывом попридержал лошадь.

— Как оно, берет или брезгует? — подмигнул он белесыми ресницами.

Я почуял в нем рыбака и доверчиво приподнял садок. Мужчина одобрил рыбу кивком серой фуражки и все так же вполголоса подсказал:

— Вы, ребята, по сумеркам посидите. Вот когда рыбка загуляет подле берега. Днем она только дразнит на ямине, а свет уйдет — на жратву ее поманит. А мне вон баба наказала осоку по ляжине выкосить.

Мужчина свернул с дорожки на траву и без грома миновал нас под обрывом. Да он и не отвлек, не помешал. Наоборот, как-то даже весело стало и приятнее: рыбак, а не любопытный пустомеля.

В азарт клева притормозил шофер молоковоза и тоже заглянул под обрыв. «Если этот рыбак, то обязательно позавидует и завздыхает, что не дают в колхозе два выходных дня», — почему-то подумалось мне.

Круглолицый парень пыхнул папиросой и негромко поздоровался. Прищурил карие глаза на выловленного окуня и молвил:

— Добрая тут ямина. Меня на нее пацаном батя таскал, до войны еще. Сегодня после дойки не удастся вырваться, кино интересное привезли, и с Маней, женой, в клуб пойдем. А вам ежели охота с лодки порыбачить, то моя эвон лежит. Берите, мы не приковываем лодки, берите. На мой... — парень немного помолчал и вздохнул, — «Терентий» написано по бортам. Батю моего так звали. Ночевать надумаете — чего у огнища маяться. Росные ночи пошли. Приходите в Ячменево, у меня перед окнами три тополины. Да вы по молоковозу отыщите. Я его всегда у ограды ставлю. Или спросите Сычева Семена. Ладно?

Молоковоз приглушенно прогудел в сторону села, и снова мы наедине с яминой, снова торопимся насаживать червей и охаем да ухаем на свой улов. Сын радуется клеву, а я еще одному знакомству с хорошим человеком...

— Дак ты-то, Марей, должна помнить хромую Лизавету, — заворковала над обрывом старушка. — Помлишь?

А ить она изувечилась из-за отца. Все праздновали, а Терентий Ульянович лошадей в жнейку и Лизу в поле с собой. Она: «Тятя, чо ты забыл, что ли — на Фролы да на Лавры коней на воду, а не хлеба жать?» А он ей: «Нечо всяки басни плести. Рожь наспела, коды ишшо жнейки выпросишь у Миньки Кроленка». Дак ослушался Терентий дочери. Зачали оне косить рожь на Заручье, Лиза на вершине. Ниоткуда возмись, заяц, лошади испужались и кинулись полоской. Она ето упала и обрезала жнейкиной пилой ногу и руку повредила. Долгонько опосля лежала Лиза в Шадринске-то, в больнице. Поправилась-таки, выходил ее дохтур Пашков. Ногу-то изладили ей резиновую, искусственную. Ульянович искупил вино швейной машинкой, отделили Лизу в пятистеник, у Петьши Анчугова купил. Тот на заработки в Асбест-город подался. Ну дак и стала Лизавета белошвейкой. И то как бывает в жисти-то... Мы с сестрой Клавдией до невест с вершины не слезали, все лошадей подгоняли. И ничо не случилось. Да-а-а...

Ишшо знаешь, что я скажу про Лизавету, — убавила голос старушка. Она, конечно, не ведала о нашем присутствии, и я представил, как она оглянулась по сторонам. — Любел ее Евлен Иванович. С девок любел. Женили-то его на Анне из Русской Течи. Добром оне жили, а к Лизе до ерманской ходил. Чего не помлишь Евлена-то? Приглядный мужик-то. Чо те Илья Муромец, чо те Бова Королевич! На ерманской его убило. А страсть веселяшшой бывал. Стих найдет — начнет боронить чо попало. А уж как оне любели друг дружку... Убило Евлена, и враз двое овдовело. Анна опосля замуж вышла, в дом Федьшу хромого приняла. Помлишь, с гражданской на костылях воротился. А Лиза увяла...

Старушки обе горестно вздохнули и замолчали. Я догадался, что шли они из Замараево и присели передохнуть на ветлу, подваленную к земле тяжелой льдиной по веснополю. Заслушался их и совсем было прозевал поклевку. Елец взлетел выше обрывного среза и запутался в полыни. Не успел я его отцепить, как надо мной ласково пропела старушка:

— Ловцу-ловиться, а завидящему на берегу задавиться.

Запрокинул голову и встретился взглядом с добрыми светлосиними глазами бабушки. Моей родимой бабушки Лукии Григорьевны... Стукнулось, ушиблось сердце... Да откуда, откуда же ей быть-то?! Вон уж Вовка мой, ее



правнук, завтрашний солдат, перерос тогдашнего меня, когда сентябрьским утром последний раз глянула она на белый свет, когда навечно приняла ее к себе юровская земля. И только в сердце и памяти воскресает бабушка, не осталось за долгую жизнь от нее ни одной фотокарточки.

И проводить ее в последний путь я не смог. Не отпустил меня с уроков завуч Уксянской десятилетки. «Много найдется у вас всяких бабушек-дедушек, вам бы только

в свои деревни бегать!» — сверкнул он очками и захлопнул дверь учительской перед носом оглушенного горем девятиклассника. А тут заверещал звонок, и пришлось отсидеть химию.

С истории и еще с двух уроков я сбежал. За эмтеэсовским поворотом на ходу вскочил в кузов грузовика и на полном газу спрыгнул с машины на песчаную твердь юровской улицы.

Грохнулся я посередине дороги и напрочь содрал кожу с ладоней. Да никакой боли не почувствовал, а сразу вскочил и побежал к бабушке. Я прибежал, а ее... не было. В доме сидели пасмурные старушки, сидели родные, и только не было моей бабушки. Не успел я проводить ее и уронить в боязную глубину могилы горстку той земли, которой столько обласкала и полила потом бабушка за всю жизнь, по которой столько исходили вместе наши ноги, которую научила она меня уважать и жалеть...

Всякие обиды наносили мне люди по злу и без умысла — все отболело и ушло из памяти. Высохли слезы, выросла на ладонях новая кожа, и сколько раз сходила она мозолями. Все прощает моя душа, кроме обиды за самого родного человека: за нее, бабушку, не утихает боль...

— Спасибо, бабушка! — вырвалось у меня, а ее и след остыл.

Над обрывом голубело высокое небо с белыми вспышками летящих чаек да сновали ласточки, как мальки на речной отмели. Но не показалось же мне, не почудилось... И голос старушки слышал, видел ее глаза и седую ковылинку у левого виска, ее лучистое лицо и зеленый кашемировый платок...

Не рыбу бы мне удить, а скорей на обрыв, догнать старушек и идти рядом с ними, слушать их и помнить себя голопятым парнишкой, а не отцом взрослого сына. Помнить и верить в чудо-воскресение бабушки Лукии Григорьевны. Ведь сколько я не успел дослушать ее слов о жизни и травах — ста травах людского исцеления...

Верить еще и потому, что давно нет в помине того кладбища, где с годами усыхал и обрастал травой-муравой могильный холмик, уже без креста и полевых цветов. Там ежегодно оживают веснами зерна и тяжелеют осенью хлебные колосья. Ветер с макарьевской поскотины клонит их к Юровке, отступившей за последние годы дальше края Одины, за лог Шумиху и ручей...

Мне бы шагать рядом со старушками и узнать, есть ли у них внуки, и порадоваться за них. И я тогда отыскал бы тех внуков и рассказал бы им о наших бабушках.

— Папа, клюет же, клюет! — напоминает мне сын.

Он весь в азарте, однако не скрывает досады на прохожих и проезжих по дорожке над обрывом. В сыне постоянно оживает дедовская привычка — укрываться на рыбалке, его в будни окружает городское многолюдье и лязг железа. У сына жива бабушка, моя мама, и, чтобы увидаться, ему стоит купить билет на автобус, и через полтора часа он будет с ней...

Ему нужно всего-навсего семьдесят пять копеек.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Первым внезапно оборвал на черемуховом мыске свое суетливое «взвеселю, взвеселю» дрозд-белобровик: столь же неожиданно, на «полуслове» примолкла неунывная синегрудка-варакушка в желто-затененной вербочками пушистой иве. Поутихла и ворчливая галка, свившая гнездо в пустотелой железобетонной опоре. И хоть все еще гогливо поигрывали по реке чебачишки — клев как обрезало.

— Тепло и тихо, а поплавки и не шевельнет никто, — нетерпеливо бормотал сын.

Он перебегал с места на место, продолжая верить в удачу. Стоксовался парень по рыбалке за два года армейской службы в песках Узбекистана и ничего не замечал вокруг себя. А я сразу почуял неладное и оглянулся на запад. Там начинали вырастать бугристые тучи, на глазах набухали сизоватой чернотой и выпирали друг дружку все выше и выше в безмятежно-розовое небо. Вот они заслонили собой полукружье уходящего солнца и остатки закатной красноты. Оттуда, издали, пока не тянуло угрюмым холодом. Однако раньше времени стемнело и в небе, и над землей.

— Айда, Володьша, в избушку! — позвал я сына, когда он опять возник над обрывом с трехколенным удилищем.

— Ага! — согласился приунывший Володька и стал быстро сматывать леску на мотовильца.

...Кто-то изрядно разорил нашу избушку, скрытую от проселка частым осинником и гущью боярки по опушке. Пришлось нам пустоту двух околниц занавесить обрывками содранного с крыши толя, а утащенную чугунную

плиту заменить листом ржавого железа. Истопленные непрошеными гостями нары-лежанки восполнили вывороченными кем-то половицами. Сушняк знойно полыхал, но дым не столько шел в дымоход, сколько валил в избушку. Видно, в трубе образовалась воздушная пробка, и сидели мы с сыном, как бы в бане по-черному.

Под пологом едучего дыма при моргливой свечке и отужинали мы, и, примостившись напротив зева подтопка, враз и уснули, чего не бывало со мной в прежние годы. Раньше я подолгу сиживал и копил тепло в избушке, чтоб после полуночи его хватило на самый сладкий предрасветный сон. А тут как легли, так и проспали на неудобно-неровных тесинах даже не ворочаясь.

Когда без маеты засыпаешь, то свежо и легко пробуждаешься. И вовсе не от того, что выстыла избушка и задремали угли в подтопке. Просто нам хватило времени на отдых, и бодрость духа подмывала на действия. Но настораживала необычная тишина за стенами: не верещали по осиннику дрозды-рябинники, не набивалась в кумовство охмелевшая от весны сова и не вопили бесшабашно кулики. Да и свет из дырок толя проглядывал слишком белый и ровный.

После смородинового чая и печеной картошки мы понежились возле огня, подобрали мусор за собой и распахнули дверь. Глаза больно сузил пухло навалившийся снег, хоть он не зальдел в притворе и не выблискивал по-зимнему на солнце.

Первая мысль — захлопнуть дверь и остаться в тепле, покуда солнце не обогреет землю. С еды смаривало на сон, да и о какой рыбалке помышлять после такого снеговала. Сыну небось с южной «закалкой» и подавно неохота топтаться в резиновых сапогах. Я аж зубами скрипнул на самого себя: именно с подобных уверток и начинается в человеке червоточина лени. Однажды поддайся, а там уж за порог не перешагнуть, там уж воображение нагромоздит прочие неудобства выезда на рыбалку или в лес, и до теоретика-домоседа совсем недалеко...

— Пошли тропить! — бросил я сыну и утопил сапоги в снег выше щиколоток.

Без восторга, молчком, потопал и он за мной.

Майское разновеселье птиц и теплынь, само собой, приятнее, чем нежданно-негаданный снегопад. Однако жалел я, что продрых ночную непогоду. С детства любы мне буранно-вьюжные ночи, а в войну каждая зима не обходи-

лась без крошечных буранов и холодов-лютовеев. По полу избы волков морозь, зато на печи, как «у христа за пазухой», радовалась мама. Собьемся мы вчетвером под одной окуткой и только слышим, как ревет-надрывается ветрище в трубе, шумит-кряхтит и скребет корявыми сучьями крышу старый тополь. Да тьма-тьмущая снегу наваливается на избенку, словно кто-то наказал бурану раскатать ее по звеньищу-бревнышку.

Заставали бураны и вьюги нас и в поле, когда возили на корове Маньке осоку с болота Мохового. Своенравная Манька смирела тогда, животным чутьем угадывала потерявшуюся под снегом дорогу и забывала о привычке неожиданно ринуться с возом в свой облюбованный куст боярки, где столько было развалено возков сена и осоки, столько изорвано и без того никудышной сбури. Нас в пути за возом согревали думы о доме, о заветной печке и о маме, что ждала и тревожилась у ворот ограды. Сон на ходу укарауливал, и одолевала зевота, но лишь разинешь рот — мигом и взбодрись. Не воздух, а снежную кашу заглотнешь до самого нутра...

Не спать бы мне, а послушать, как куролесила непогода, и не в мыслях, а как бы снова наяву обратиться в того парнишку с прозвищем Вася Маленький. С чего и расти-то нам было...

На ходу разогрелись и незаметно углубились в лес, а на уютной поляне вдруг захотелось нам с сыном развести костер. Из заплочного мешка выудил я берестину, а Володька живо наобламывал с берез и редких сосен сухих сучков. И вот оно человеческое счастье с первобытных веков! Веселый компанейский костер, будто друг-товарищ, тут как тут!

— Нодью, нодью сообразим! — вспомнил читанное о таяжниках сын и с топором кинулся через поляну к осиновой сушине, сплошь издырявленной дятлами.

Поплевал Володька на ладони, как заправский лесоруб, и всаdil лезвие топора у самого комля.

Ясно и не таяжнику — какая нодья из осины! Спички без нее не сделаешь, бат, лодка-долбленка, легка и долговечна. На многое годна осина, споро и неприхотливо растущая, одна-разъединственная дюжила, не высыхала, когда ядохимическая вьюга с самолетов пылила на посевы. Но уж нодья осиновая... Это если охота одежду прожечь — пожалуйста, ежели сучьев недостаточно!

Останавливать сына я не стал, пускай разомнется



парень, силу свою хоть не на живом дереве испробует. И не разучился ли в пустыне топором владеть?

Я ожидал, что свирелью заиграет лесина, коли столько дыр на ней. А на самом деле в сей же миг из нижнего дупла, словно выплунутые вишневые косточки, вылетели парочкой полевые воробьи с сердитым «чо, чо, за чо, за чо?!»

Ну, воробушки — не ахти какая диковина, любую щель под жилье себе выберут. А вот когда из осины посыпалась

самая разная птичья мелочь — тут и о нодье, и о костре забылось. Друг за дружкой из одного дупла полезли и больши синицы, и гаечки, и пеночки, и... даже удалой песельник-зяблик! И все-то они пищат-верещат, никак не очухаются. А вон с чиликаньем, как малые девчущечки, белые трясогузки улизнули с «третьего этажа»: самое аккуратное дупло оказалось скворешней. Оттуда наполовину выглянул сам хозяин-скворец и зыркнул вниз на моего сына. да длинно-пронзительно свистнул. И тотчас же скрылся: мол, черта с два брошу я свою скворешню-квартиру, желающих занять ее безо всякого «ордера» вон сколько!..

Певчий дрозд и подавно не дупляной жилец, но и тот фуркнул из какой-то дыры в сторону ольховой согры. А где черны дятел-желна чуть не в полдерева распластал осину, вывалилась пара сов-сплюшек. Только они не метнулись с перепугу, как многие постояльцы, а примостились на обломыш сучка и плотно прижались друг к другу.

Сын тоже задрал голову и еле успевал провожать птиц из осины. Было чему и мне подивиться, хотя кажется порой, что все-то я повидал в родных лесах и ничего особенно не узнаю, если по какой-то причине сорвется задуманная поездка в леса.

Я догадывался, что далеко не всех спешевил Володька, далеко не всех выжил нечаянно на белый свет-снег. Летучие мыши, к примеру, не отцепятся от стенки дупла, хоть рухни осина наповал. Рано прилетевшие горихвостки и вовсе не подумают вылетать, им не белые, а живые мухи нужны.

— Вот тебе и нодья! — растерялся сын. — Вот мы и обогрелись... Не осина, а настоящее общежитие.

— Постоялый двор, — вспомнил я редко употребляемое ныне слово. — Прописанных в дуплах раз-два и обчелся, зато тех, кого осина в непогоду на постой пустила — не враз и пересчитаешь. Это как в войну было у нас в Юровке: почти в каждом доме не по одной семье эвакуированных привечали. Ну и детдомовцы, больше всего ленинградцы, куряне и воронежцы, прибегали к нам, как к себе домой. А в нашей да бабушкиной избах испокон веку полно было народу — и охотники, и рыбаки, и цыгане; в беду сдруживаются все — и люди, и птицы...

— Хорошо, пускай постоялый двор, но настоящие-то хозяева — дятлы, правда? Чем же птички им за постой-прибежище заплатят? — с хитрецей прищурился Володька.

— Чем? А ты подумай, чем каждая птаха будет заниматься до самой осени?

— Песни петь, да?

— И песни, кто на них горазд, кто голосом вышел. Но какие певцы из сов или летучих мышей? А когда цыплята появятся, тогда и певунам не до развлечения.

— Понял, понял! — заторопился сын опять к осине, где давеча выронил у комля топор.

Он гладко отесал сушину и простым карандашом старательно, как в прежние годы школьники на уроках чистописания, крупно вывел печатными буквами: «Постоялый двор». Отступил назад, любовался и добавил — «Птичий».

СОН ЗЕМЛИ

На закате июля быстрее смеркается, гуще потемки, свежи и длинны ночи. Недаром же покойная бабушка говаривала мне в детстве: «Об эту пору конь наедается, молодец высыпается». А нам с сыном до ночлега еще далеко: мы только-только поднялись в гору от лесной речушки Боровлянки; нам нужно перевалиться через увал, спуститься на приисетские луга и пересечь наволоку, чтобы выйти к большой реке и возле нее заночевать на каком-нибудь зароде сена.

Темно на земле и в небе, но зато легко шагается и полевою дорожку не приходится разглядывать — она белесым половичком стелется меж высокой пшеницы и, нагретая за день ясным солнцем, ласково теплит наши босые ноги. Правда, разулись-то мы вовсе не из прихоти, а по нужде: пока выбирались к дороге росными травами, кеды насквозь промокли, а сырые ноги смозолить дважды два. Но это и к лучшему, иначе бы не догадались хоть разок за лето пошлепать босиком, как бывало в детстве. Пусть сперва и щекотно голопятым, однако скоро ноги обвыкли и отшагиваем мы довольно споро.

Ах, до чего же все-таки приятно идти босиком! Всем телом чувствуешь неостывшую землю, и необъяснимая бодрость сменяет дневную усталость. Не знаю, как сыну, а мне нет-нет да и хочется зарыть ноги в пуховую пыль и, закрыв глаза, в сладкой истоме постоять на месте...

Тяжелая роса склонила стебли пшеницы, стекла с колосьев на ромашки и конотоп по меже, где днюют и ночуют кузнечики. Да им и ночью не до сна, они и сейчас

подают «голос». Но если днем кузнечики сухо и звонко стрекотали, то из отпотевших трав слышится лишь шепелявое пиликанье. Натужится кузнечик и пытается как можно громче сыграть, а все равно получается тягучий шепот — «шший, шший, шший...». И это сплошное «шший» по обочинам дорожки звучит не как шипение, а как нежно-убаюкивающее «спии, спии, спии...». Стоит нам остановиться, чтобы прикурить, как сразу же начинает долить сон.

Увал незаметно остается позади. Мы выходим на луговую тропинку и — прощай теплынь полевой дорожки. Подросшая отава плеснулась холодком росы, и сонливости как будто не бывало в теле. Резвее зашагалось, и мысль одна-единственная — поскорее пересечь наволоок и выбрать ночлег поближе к Исети, чтобы поменьше вымокнуть утром, когда двинемся рыбачить на перекате.

Но стог не просто и вблизи разглядеть: с увалов на луга наплыло столько тумана, словно повсюду чадили мозглыми гнилушками невидимые глазу костры. Пришлось чуть ли не наугад свернуть с тропинки возле длинной стены тальника, а там, на покосе, мы неожиданно уткнулись в волглый бок зарода. «Фу ты!» — вырвалось у меня с облегчением, сын тут же полез на зарод и с его загровка весело позвал:

— Давай сюда! Ух и тепло на сене, как на печи у бабушки!

В особом приглашении я и не нуждаюсь: с ног продрог всем телом и начинаю побаиваться простуды, вся и надежда на сено. Оно не только выпьет сырость, не только обогреет, но и вытянет из человека простуду. Это старинное средство из народной медицины не раз проверено было в детстве, да и мать наша лечила ревматизм, запаривая в бане сенную труху. Поэтому, очутившись на «спине» у зарода, я сразу сую поглубже ноги в сухое пахучее сено.

Вольготно развальясь на зароде, недоступные на нем сырости и туману, смотрим то на звездорос по небу, то на луга, где медленно плывет огромный белый ковер-самолет. Редкие черемуховые кусты и осинки кажутся где-то глубоко внизу, а до земли и вовсе далеко — душа обмирает, как подумаешь о ней...

Снова у подножья зарода пробуют заявить о себе кузнечики, но здесь-то и того пуще отсырели у них крылышки. И получается, что это остывают с шипеньем горячие травы.



Но какой-то догадливый проворно прыгнул на стог, обсох на сене и не зашикал, а как-то уж очень бойко застрекотал. Внизу по отаве его собратья влажно тянут «спим, спим, спим», а для этого и ночь не ночь.

Правый берег Исети крут и высок. Кто-то из деревни Загайново едет на мотоцикле в соседнее село Ячменево. Скорость сверху не чувствуется, и мотоциклист воспринимается нами, как большой кузнечик. Кажется, вовсе не

машина, а он с горящим глазом летит и стрекочет на огни села...

Вот затих железный кузнечик, и опять тишина. Даже дальний поезд не грохочет по рельсам, как днем, а пробегает с мягким шумом. И сигнал электрички перед станцией Лещево-Замарево — это совсем и не гудок, а чья-то корова-бродяга заявила-таки домой и с виноватым мычаньем тычется в закрытые ворота ограды.

Сын о чем-то своем думает или уже заснул, а я, как только донесется жалобное «ммуу», вспоминаю нашу корову Маньку. Сколько раз до полуночи искали мы ее всей семьей по Юровке и за околицей — и не находили. И накричимся, и наревемся, и с горя спать ляжем. Только-только засыпать начнем, как Манька торкнется однорогой башкой в скрипучие ворота — левый рог сломала она из-за своей же неодолимой тяги к бродяжничеству — и промычит.

— Явилась, бродяга несусветная! Мучительница окаянная! — ругается мама, вставая с постели. И бранится в сених, когда открывает запорку, и с крыльца грозитя побить корову. Однако возле ворот мама умолкает, а запустив бродягу во двор, говорит совсем другие слова: — Манюшка наша пришла, кормилица наша родимая! Иди, иди, милая.

Мы знаем, что во дворе мама гладит однорогую голову бесшабашной Маньки, треплет ее бока. И у нас троих — сестры Нюрки, брата Кольши и меня — нет ни капельки злости на свою кормилицу, на свою доену, на свою же лошадь.

...Умчалась электричка. Много их за ночь пробежит, и каждая подаст «голос» перед станцией, но никогда больше не услышу я нашей Маньки — истинной кормилицы и опоры для нас в годы военного лихолетья...

Уснула земля. Спит и ровно дышит уставшей грудью, словно мать многодетной семьи. Отдыхает она, и вздохи ее рождают туман, он освежает травы и деревья. И где-то бродят по отаве на лугах кони, довольные долгим отдыхом. Они не носятся и не бьют копытами землю — тоже не хотят тревожить ее сон.

Тепло земли идет через стог сена и по-матерински согревает нас с сыном. Он уже посапывает и видит свои, конечно же, счастливые сны. И мне не о чем тревожиться, коли так покойно на земле, и она не вздрогнет до рассвета своим чутким телом.

Василий Юровских живет в городе Шадринске, Курганской области. Уже в первых книгах этого прозаика из Западной Сибири, которыми он начинал свой путь в литературе, отчетливо выявили себя весьма привлекательные характерные свойства его дарования, перспективы развития и совершенствования его творчества. Затем одна за другой появлялись новые книги, и было видно, как голос писателя, сохраняя столь свойственную ему мягкость звучания, задушевность и теплоту окраски, расширял свой диапазон.

Начальные опыты писателя были связаны с жанром чрезвычайно трудоемким. Он писал миниатюры. Это очень короткие рассказы-записи, посвященные русской природе.

Он сразу добился в этом жанре немало. Недаром его первую книжку приветствовал и напутствовал известный в свое время знаток и друг природы, ныне покойный Дм. Зуев, говоривший о нем как о «наблюдателе тайн леса, земли, воды», призванном «воспевать красоту и бороться за охрану родной природы».

В книжке «Снегириное утро» читатель встретил произведения, в которых кисть художника направлялась взволнованной, образной мыслью, и мысль эта воплощалась в штрихах и красках, присущих именно его творческой индивидуальности, притом свидетельствующих о следовании высоким образцам. Наиболее естественно выражало себя его обаятельное дарование там, где он давал волю собственной мысли, «очеловечивал» мотивы зарисовок, когда в записях читатель находил и живое наблюдение, и юмор, и озорную фантазию, и все это окрашивалось неподдельной нежностью восприятия природы, трогательным сердцем добротой, какой-то свежестью душевной, чуткостью к истинно прекрасному и удивительной чистотой.

Подлинными ценностями содержались и в сборнике «Певучая речка». А книжка рассказов «Материнское благословение» вышла в издательстве «Детская литература» с предисловием Е. Носова (и с превосходными рисунками художника Н. Устинова), в котором Евгений Носов справедливо подчеркнул, что В. Юровских не хочет оставаться только потребителем уже устоявшегося литературного языка — он его «активный творец и пополнитель. И реставратор одновременно. Любовно и бережно очищает от

архивной пыли незаслуженно забытые в суете слова и, вписывая их к месту, заставляет сызнова звучать веско и молодо».

Тонкое восприятие органичной для героев произведения «окружающей среды» — не только природы нашей, но и языка нашей литературы, языка нашего народа — одна из благородных и благотворных традиций, завещанных большими мастерами отечественной классики.

Книга «Синие пташки-пикушки», которую вы держите в руках и которой автор дал точное жанровое определение — лирическое повествование в рассказах, автобиографична. И посвящена она годам военного детства.

Рассказы связаны между собою, как вы увидели, общностью времени действия, судьбами ряда персонажей, местом действия, которое протекает в деревне Юровке, родной для повествователя и его героев.

Здесь приоткрыта иная — по сравнению с другими книгами Василия Юровских, о которых шла речь до сих пор, — грань в его творчестве. Здесь речь идет о людях, в частности — о детях. Все, включая излюбленные картины и штрихи в изображении жизни природы, показано сквозь восприятие героями произведения, так, как это воспринималось их глазами и душою.

Суровы нарисованные автором картины. И светлы. В них много красок времени. И ни на минуту не забывает художник о том, что было главным в каждом явлении, в каждом изображаемом им эпизоде.

Привыкшие к разлуке с близкими, к раннему сиротству, к голоду, непосильному труду, дети, герои рассказов, не перестали быть детьми. Детские у них мечтания, надежды, игры, проказы, озорство. Весь окружающий мир воспринимается ими как порою обидно рано взрослеющими, но все же еще детьми. Незаурядное достоинство книги — эта многоцветность и живость детского мира.

В ряде мест повествование достигает впечатляющего лаконизма. Хотелось бы, чтобы читатель вернулся к таким, например, страницам или строкам: «Как-то незаметно привыкли мы с ребятами, что у Витьки дома отец, но по-прежнему звали его не иначе как Витька Матренин, и он никогда не поправлял нас и не обижался. Называли же меня Васька Варварин, другого дружка — Ванька Устиньин, как и всех остальных, по именам матерей. Даже учителя в школе вызывали к доске нас не по фамилиям — сплошь были Юровских, Мальгины, Пospelовы да Грачевы,—

а по именам матерей наших». Страшная правда военных да и первых послевоенных лет!

Это из рассказа «Груздяные грядки». А в рассказе «Журавлиные корни» звучат возвышенно и сильно уже не готовность ребятишек к восприятию свершающегося вокруг них, не детская лиричность, а раздумья человека, прошедшего немалый путь:

«Милая, милая моя покойная бабушка, Лукция Григорьевна... Как вовремя пришла на ум мне твоя просьба, а то уж с языка вот-вот и сорвалось бы, чего мы еще пропововали с тобой, какое «лекарство» искали. И не от хвори. Как-то и не хворалось нам тогда. А от голода. И нашли, не замерли...

А все же не забываются мне журавлиные корни. Вспоминаю, когда хожу лесами и вижу похожую чем-то на ландыш купену... И часто-часто моргаю, когда сентябрьское небо окликает меня журавлиными голосами. Они расстаются с родиной, а корни их остаются здесь. И мои корни тут же, где стала пухом бабушке родимая земля».

Трогают мысли о том, что такое добытый трудом хлеб (в рассказе «Хлебушко»), о необходимой для жизни человека радости («Синие пташки-пикушки»), о чуткости и отзывчивости детского сердца. Хочу еще раз сказать, что этого впечатления отнюдь не разрушают эпизоды, где речь идет порою даже чуть ли не о жестоких, но все же ребяческих проказах. Надо подчеркнуть: что касается нравственности, то в каждом из таких рассказов неукоснительно находим мы либо уравнивающий этот проступок шаг совсем иного порядка, либо раскаяние героя, едва ли не терзания совести в связи с содеянным. Имеются в виду, скажем, «Груздяные грядки», «Синие пташки-пикушки».

Хочу обратить внимание юных читателей книги Василия Юровских на то поистине драгоценное, что она несет в себе. Она буквально дышит сыновней любовью к нашей Родине, к ее природе, любовью к человеку. Сочувственно, по-родственному всматривающийся взгляд очень доброго и мягкого, порою чуть ли не до застенчивости, художника устремлен в самое сердце его героев, детей, которым было примерно столько лет, сколько вам сейчас, но которые росли в тяжелые, суровые годы войны.

Ю. Лукин

СОДЕРЖАНИЕ

Тальянка*	3
Красная звезда	18
Соломеины голуби*	24
Груздьяные грядки*	34
Синие пташки-пикушки*	43
Кедр	48
Юра Артист	53
Военрук	57
Лимон	68
Манькин куст	73
К тятё	79
Ночные тони	90
Журавлиные корни*	97
Хлебушко*	101
Как я учил бабушку*	105
На Исети, у Ячменово*	110
Постоялый двор	116
Сон земли	121
Ю. Лукин. О чем и как пишет Василий Юровских . . .	125

Для среднего и старшего возраста

Василий Иванович Юровских

СИНИЕ ПТАШКИ-ПИКУШКИ

ИБ № 4992

Ответственный редактор *Н. С. Аравина*. Художественный редактор *А. Б. Сапрыгина*. Технический редактор *Г. Г. Седова*. Корректоры *Г. Ю. Жильцова* и *Е. А. Суксян*. Сдано в набор 02.03.81. Подписано к печати 11.09.81. А07149. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 6.72. Усл. кр-отт. 7.98. Уч.-изд. л. 7.22. Тираж 75 000 экз. Заказ № 3323. Цена 40 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суцеский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

40 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

